

**САТПРЕМ**

# **ЗОЛОТОИСКАТЕЛЬ**

роман

© Издательство Чернышева, 1998

ШРИ АУРОБИНДО  
И ТОЙ, КОТОРУЮ НАЗЫВАЮТ МАТЬ,  
СМУТНЫЙ ДАР ЭТИХ СТРАНИЦ



Сатпрем (Бернар Анженже), 1943...1953

Никогда ничего не домогайся,  
Никогда ни на что не претендуй,  
Но каждую минуту будь тем,  
Кем ты можешь быть.

*Мать*

Neti. Neti.

(Не то. Не то.)

*Брихадараньяка-Упанишада*

Бесконечны облики тайны,  
Бесконечно всё, что создал Бог...  
Люди ждали конец — он не приходит.  
Утрачен страх, утрачены надежды,  
Но путь есть, хотя никто его не видит,  
И всё в нем обрело своё начало.

*Еврипид, "Вакханки"*

## **ЧАСТЬ ПЕРВАЯ**

Над этим городом, между двумя обвалами дождя, бесконечно, с жалобными криками кружат ястребы. Над этим городом, осаждённым лесом, небо цвета медузы. Оно нависает над крышами из гофрированного железа, над изрезанными листьями банановых деревьев, похожими на тибетские знамёна, которые не поколеблет никакой ветер, над дряблыми кокосовыми пальмами на илистом берегу.

Маленький продавец содовой воды, не произнося ни слова, везёт свои тёплые напитки и термосы. Он толкает тележку, едва касаясь её рукой, втянув голову в плечи. Дребезжащий звон цинковой тележки, катящейся по выдолбленному лабиринту, гулко резонирует, оповещая о воде, которая не утолит жажду.

Лес проталкивается исподтишка в низенькие улочки, пробивается между спящими чёрными телами, похожими на обломки после кораблекрушения. Воздух пахнет самкой — вот уже две сотни миллионов лет здесь стоит один и тот же запах грибов и протухшей рыбы.

Три часа дня. Ястребы кружат. Небо не желает раскрываться.

В этом городе у меня есть брат. Больница Сен-Поль, в ней он и разместился. Дело в том, что в больнице самое дешёвое жильё для белых. Но он здесь ненадолго — мой брат нигде не задерживается. Мой брат — моя тень...

Когда он поизносится и будет гладким, как морская галька, долго обкатываемая морем, я верну его себе, ибо он всегда был мной, а я — во всех его тенях — был им.

## Кайенна. Декабрь...

— Господин Легло́к, утром приходили из полиции, справлялись о вас.

Сестра Марта делает вид, что поправляет противомоскитные сетки. Я смотрю на неё, насколько это возможно, с отсутствующим и невинным лицом. Сволочь!

— А-а!

— Сведения давала не я, а мать настоятельница...

Я роюсь в ящике, продолжая изображать непонимание. Но я задыхаюсь. Надо сказать ей что-то вроде: "Как долго тянется история военного периода!" — всё равно что, с безразличным видом, но слова застряли у меня в горле. Я злюсь, что веду себя, как ребёнок, застигнутый врасплох, и тереблю свои тенниски.

— Вы здесь надолго?

— Не знаю.

Как они давят на меня! Как липнут ко мне, как всё вынюхивают! Они меня не любят, а теперь явно презирают. Должно быть, я совершенно не похож на католика.

— Можно подумать, что вас ничего не интересует.

Да, сестра Марта, меня абсолютно не интересует то, что интересует вас. Я не из ваших. И я предпочитаю молчать.

— Однако золото...

Она бросает на меня взгляд из-под очков, поправляет их.

— Существуют люди, которые способны ради него на всё...

Небо лучезарно, в нём, за колоннами, едва трепещет пальма. Я приколот, словно мотылёк. Она не простит? Кто простит? Какую вину? Я несу на себе груз вины, как при бегстве из Египта. Помилования не будет.

Три часа дня. Её платье пахнет крахмалом и горячим утюгом. С первого дня она смотрит на меня косо, словно разъярённый зверь, с того самого момента, как я отказался принять сульфат натрия. "Вы пришли с гор, вам необходимо прочистить внутренности". Сестра Марта говорит это всем, кто возвращается из леса, это приказ. Все проглатывают огромный стакан, который она с улыбкой протягивает, и говорят спасибо. Нет, я не люблю сульфат натрия! Я отказываюсь.

— Вы, кажется, работаете в Управлении рудниками?

— Нет.

Она отлично знает, что я не работаю в Управлении рудниками. Ей очень хочется узнать, что я делаю в этой жизни. Мне тоже.

Сестра Марта больше не изображает, что заделывает дыры в противомоскитной сетке. Она стоит на пороге и смотрит на меня.

— Говорят, ваш друг умер там, в горах.

— Да. Лихорадка.

— Лихорадка...

Я продолжаю рыться в ящике. Сестра Марта, как хорёк, проskalьзывает на веранду.

Меня тошнит от всего этого. Накатывает желание сказать всем: "Хватит, кончайте!", как будто я совершил преступление. Вот вам, жрите, насыщайтесь, радуйтесь! Я оправдываюсь, словно в чём-то виноват. Сложить к их ногам мой невыносимый груз. Что им всем надо от Иова Леглоэка? Что они все вынюхивают?



Сосед в кровати напротив спит под москитной сеткой, как убитый. Он ничего не слышал. Возможные друзья всегда спят, или думают о чем-то своём, или находятся вдали от меня, когда я больше всего в них нуждаюсь. Странно... как всё далеко от меня! Разобранное ружьё, котелки, керосиновая лампа, свёрнутый гамак, тенниски. Очень похоже на кораблекрушение. Запах эфира и лекарств поднимается снизу, движется кругами из соседней общей палаты. Железная кровать скрипит на полу, покрытом плиткой. Целый мир звуков, разобщённых и несогласованных... Быть может, я в аду? Рука тянется к бумаге. Такое чувство, что я заперт в трюме.

За что бы уцепиться?.. Сказать что-нибудь, чтобы спасти себя, чтобы выжить, как делают другие — кто молится, кто женится. Но мне нечего сказать, я нищий. И всякий раз, оказавшись среди белых, я безоружен, я виноват, я сам себя в чем-то подозреваю, словно зверь, загнанный в ловушку.

И я пишу эти строчки, пишу, чтобы бороться с эрозией, чтобы сказать "нет" враждебному, беспросветному, душераздирающему миру. Миру, который вынюхивает, присваивает, извлекает из всего пользу.

Восемь месяцев без единого человека, среди деревьев, змей и обезьян, и вот моё появление здесь — в этом болоте. Мир похоти и острых когтей. Я говорю ему "нет". Я не сдамся, я не хочу сдаваться.

Мне нужно укрыться на моём внутреннем острове, возле моего пылающего ДА, возле неподкупного брата, который, я уверен, здесь, который появляется, как ангел-хранитель, потому что я во всем разочаровался, все утратил.

Вероятно, нужно молчать. Ничего не писать, ничего не говорить. Остаться беспомощным, сложить руки, как Сиддхартха, сидеть и смотреть на этот котелок до тех пор, пока тебя не озарит. И тогда, возможно, это ДА, внедрённое в меня, станет миром и светом в моих венах: и мир окажется лёгким — словно колибри. Я буду свободен. Буду невиновен.

Зачем мучиться и ворошить былые невзгоды? Венсан умер, но мы всё-таки нашли ЗОЛОТУЮ ЖИЛУ, там, на плоскогорье Маронí, за горой Леблón. Я добуду там золота на несколько миллионов. Наконец-то я буду свободен и ни от кого не зависеть. У меня будут все паспорта мира, все визы, я буду спасён! Мой "Пилигрим", с какой любовью я снаряжу тебя! Оснащу как яхту, у тебя будут обтекаемые линии. Довольно плавать на чужих кораблях! Свобода!

Мы с Венсаном никогда не говорили в лесу о золоте, "Пилигрим" — наша навязчивая идея. Свобода... Был ли я когда-нибудь так свободен, как в этом лесу, вдали от людей, которых принято называть ближними? Был ли я когда-нибудь так счастлив, как в Базальтовой бухте, в предпоследнем лагере, до нашего открытия, до смерти Венсана? Мы ещё не оснастили "Пилигрима", но уже, неутомимые путники, плавали с попутным ветром от Канарских островов до мыса Горн под исступлённый гомон птиц, среди огромных деревьев балáта и зарослей лиан. Там я испытал состояние блаженства.

Бухта совсем крошечная. Был сухой сезон, прозрачная вода среди обвалов базальта под трёхметровыми папоротниками казалась ледяной. Она плескалась как раз там, ниже маленького болотца, где под назойливое зудение комаров мы копались в золотоносной грязи, в которой почти не было золота.

Обнажённые, мы ныряли в холодную воду, у нас болели спины от того, что мы копали, рыли, обрубали изогнутые, кривые корни и весь день промывали лотки, склонившись над чудом нескольких крупиц золота под нитями чёрного песка. Ещё один лоток, ещё один, чудо близко, оно всё ближе и ближе. И вот оно наше, оно здесь, и мы идём от одной бухты к другой, как морской прилив в дни равноденствия, от одной впадины к другой, к чудесному бассейну, где будут плавать шесть сотен золотых рыбин.

И кто это говорит о лихорадке! Мы были счастливы.

С детским смехом, голые, погружались мы во впадины базальта, в эту девственную землю, предназначенную для попугаев и змей, в зарождение вечной жизни, где людьми мы оказались совершенно случайно.

— Быстрее!

Лес уже розовый, нежно-розовый цвет индейских городов в долинах Джайпура — этот цвет называют амазонским. Через двадцать минут мгновенно, как занавес, обрушится ночь.

Мы с Венсаном бежим к хижине, лёгкие-лёгкие, даже не глядя под ноги, как бегали когда-то, в детстве, по песчаному берегу, который я называл диким, среди скал, поросших фикусом. Тело утратило всякую тяжесть и, быть может, с огромной радостью полетело бы! Оно в гармонии с землёй, с деревьями, впервые в гармонии со мной, переполненное, лёгкое, неуязвимое, как смех! Мы бессмертны! — так сказало мне однажды моё тело, которое когда-то должно сгнить, — мы умираем только из-за недостатка радости.

Состояние уверенности. Полное, как мирабель, и горячее, как у роженицы. Да, именно так: влить эту полноту в жизнь, в каждую секунду жизни, изжить прежние пороки, и — смерть побеждена, и мы, смертные, войдём в бессмертие здесь, теперь, на земле, люди освобождённые, люди совершенные. Царство Бога на земле, и только оно!

Вновь обрести это сокровище, секрет детства, когда мы не были ещё заключены, подобно живым мертвецам, в панцирь взрослого человека, когда мы были открыты и напоминали подснежники в колышущемся приливе мира.

Мы утратили веру, утратили мечты, утратили былую мудрость...

Пустой мечтатель! Старая песня замкнутого мира: я мечтал над картами. Карты сносшибательные, карты с огромными разноцветными пространствами, как сказочное море, куда можно погрузиться, со своими сказочными Бактриями, Куньлунями, Лобнорами, городами, возникающими по мановению волшебной палочки. Золотые покрывала, вспыхивающие царства. Я искал — и до сих пор ищу — не знаю, что это за смутные воспоминания, но я ищу, быть может, землю обетованную?.. Пустой мечтатель, и всё же наши фантазии воплотятся, наши мечты — это реальность, которая грядёт. Я знаю, знаю...

Мы с Венсаном были неуязвимы до тех пор, пока верили. И не сломали себе ноги о базальтовые глыбы, ибо вера была с нами. Ни одна змея нас не укусила, так светел был наш взгляд. Мы весело бежали к своей хижине, обгоняя перепуганных игуан и попугаев.

Каждый вечер крикливые ара с шумом пролетали над вырубкой — они летели на запад, к реке, и их неистово зелёные брюшки проносились в небе как обещание, как зов.

Лес затухал в слабеющем розовом свете, и каждый вечер неизменно раздавался одинокий крик птицы, похожий на крик куропатки, после чего начинался пронзительный ночной стрекот насекомых. Последняя ночь в Базальтовом лагере.

— Покажи!

Вот уже многие месяцы я совершал у костра один и тот же ритуал: доставал кожаный мешочек, куда мы крупницу за крупницей складывали наше сокровище.

— Не хватит даже на корпус "Пилигрима"! А ведь ещё паруса... Мы никогда не закончим его оснастку...

— Ещё два месяца сухого сезона. Уверю тебя, мы найдём. Не сглазь своими сомнениями удачу!

От золота, подогреваемого нашим костром, исходило ласковое тепло. Грамм двести, наверное... Вокруг вибрирующая стена ночи.

— Послушай, завтра будем сниматься. Пойдём выше, на запад, в другую бухту. Здесь ни черта не найдём. Нет смысла изо дня в день собирать по крохам, нужно искать настоящую ЖИЛУ. Чтобы сразу сделать "Пилигрима", иначе... Быстро надо делать, понимаешь, быстро.

— Полтора миллиона — это килограмма три. Здесь тебе не Перу. Уверю тебя, мы найдём...

— Странно, но порой мне кажется, что это совершенно неважно: найдём мы или нет.

Венсан смотрит на меня круглыми глазами.

— Ты сумасшедший!

И тем не менее, это так. Не всегда, а тогда, когда я погружаюсь в себя... Золото сыплется между пальцами, как сыпался песок с блестками слюды на моем острове, и в ладони остаются три золотых крупы.

С какого-то момента Венсан стал терять терпение.

— Если бы хоть один насос! Уверен, что высохшее болото, которое мы нашли на днях, было хорошее... Что за страна! Или всё затоплено и ничего не сделать, или всё высохло и, тем более, ничего не сделать. В следующий раз надо взять с собой насос, понимаешь, насос.

— В следующий раз? На какие деньги?

— Ты прав. Надо найти сейчас, мы обязаны найти!

Мы молча поглощали свой обед из куака, запивая его водой. Сушёный маниók набухает в животе. Он мало весит, удобен для транспортировки. У нас осталось несколько банок тушёнки, кажется, они немного вздулись.

— Можно подстрелить ара... Но у них, наверное, жёсткое мясо.

— Говорят, у змей такой же вкус, как у рыбы. Во всяком случае, змею легко поймать и не надо тратить патроны.

— Тьфу! Скажу тебе, что этот проклятый лес такой же пустой, как в Арденнах, не считая комаров.

Мы снова и снова возвращались к нашей навязчивой идее.

— Послушай, Иов, кроме корпуса и оснастки, что ещё надо? Компас, карты...

Каждый вечер мы составляем и обсуждаем список продуктов, воображаемые маршруты, перечень материалов.

— А секстант... он дорогой?

— На яхте им редко пользуются. Слишком сильная качка. Да я и не умею работать с секстантом.

— Я тоже.

— И тем не менее, за полгода ты научился отлично лавировать, не хуже островитян. Тебе надо только привыкнуть к морю.

— А ещё и мотор!

— Ты непробиваем, как пень! Сто раз уже говорил, что мотор на борту яхты капризен, как женщина, что он никогда не работает.

— А если мы попадём в штиль у мыса Горн и нас снесёт на скалы?

Венсан поджёт несколько кусочков белёсой смолы, похожей на корку селитры, чтобы отогнать комаров. Хижина наполнилась ароматом. Каждый раз мы спорили, кто будет этим заниматься. В поисках смолистого дерева приходилось часами прокладывать себе путь с помощью мачете и возвращаться ни с чем. Вчера Венсан принёс целый мешочек. "Если придётся меня хоронить, будет с чем отпевать!"

— Допустим, мы отправимся с островов Зелёного мыса, где мы тогда причалим в Южной Америке?

— Смотря какой будет ветер.

— Обычный.

— В Баха-Бланка.

Завернувшись в свои гамаки, мы прислушиваемся к ночи.

— Эй, Иов... у меня всё время такое чувство, будто мы забыли включить в список что-то очень важное...

Эта ночь странным образом завладела мной. Казалось, я растворился в бесконечном стрекоте насекомых и медленно, как распустившийся цветок, вывалился из своего тела. Я барахтался в необъятном маслянистом трепете, простираясь от хижины до бухты и как бы уносимый волнующим кишением ночи. Тело стало совсем крохотным, как кусочек чёрного камня, помещённый в сердцевину древнего мира, в минерально-растительное начало, что шелестит, вливаясь в другие шорохи, и едва удерживается за меня, а сам я растворяюсь в ночи и утрачиваю всякие пределы. Шумы медленно выстраиваются на одной высокой ноте, разряжаются и постепенно исчезают. Я скольжу в просторе легчайшей тишины, как в прозрачной воде бухты Бель-Иль — в просторе необъятной, глубокой тишины.

Вдруг раздаётся какой-то вопль.

— Красные обезьяны!

Низкий шум в глубине шелестящей ночи, которая его почти поглотила, казалось, искал дорогу — то ли повернуть на север, то ли на восток — и тяжело катился, как бы порождённый соком шуршащей листвы или едва затвердевшими скалами. Вплоть до живота, где плещется беспокойная жидкость, постоянно напоминающая нам о рождении, откуда возникает, возможно, первый крик, всегда готовый повториться в нас, первый крик внезапно возникшего мира.

— Ты слышишь? Красные обезьяны! Что будем делать?

— Ничего.

Они движутся в нашу сторону. Насекомые исчезли. Гул нарастает, перелетает с дерева на дерево, сметает, как прибой, тишину ночи, превращается в долгое хриплое рычание, несётся над бух-

той по верхушкам деревьев. Я чувствую, как Венсан сжался в своём гамаке. Совсем рядом отчётливо раздаётся пещерный лай старых самцов — они на страже.

Дым, поднимающийся над нашими гамаками, как будто предназначен для того, чтобы предотвратить беду. Или прославить удивительную тайну человека на этом звёздном обломке.

На какое-то мгновение стая обезьян останавливается в нерешительности, отдельные крики слышны в двадцати метрах от хижины. Венсан спрыгивает с гамака. Я слышу, как он заряжает длинноствольное ружьё двадцать второго калибра. Градом падают сухие ветки.

— Успокойся, они не причинят вреда и мухе!

— Муха, муха... Ну и шуточки у тебя! Мы с тобой не мухи.

Рычание, кажется, начинает удаляться. Венсан сидит в гамаке, свесив ноги. Поскрипывает верёвка. Несколько обезьян задержались возле тропинки. Одинокое вскрикнула птица. Тревожный рокот медленно отклоняется к югу, как корабль, меняющий галс, его след вытягивается и расходится зыбью. Последние всплески медленно растаяли на далёкой напевной ноте — первый трагический хор в ночи мира. Наконец всё смолкает.

— Боже, как далеко!

— Почти не слышно.

Насекомые ожили и застрекотали, бычьи жабы возобновили своё монотонное, нескончаемое кваканье.

— Иов, послушай, я кое-что хочу тебе рассказать... Это преследует меня уже несколько лет... не знаю, как тебе объяснить...

Я представляю его в темноте: должно быть, он отбрасывает прядь волос и принимает, вытягивает свой вздёрнутый нос. Вечно он производит впечатление человека, который что-то потерял.

— Какая странная ночь, и эта удивительная тишина, и мы с тобой так далеко... Мы никогда с тобой не говорили о войне, но



тогда со мной что-то произошло — я был лётчиком. Один случай всё изменил, мне очень трудно его описать...

Верёвка гамака скрипит, как лить на якорной стоянке. Мы пришвартовались к ночи, к толпе мертвецов, которые не перестают умирать.

— Представь себе, шестьсот километров в час, треск пулемётов, мотор свистит, как лопнувший котёл, потом взрыв — и я в воздухе под парашютом. Чудо! Выбросило из кабины, сам не знаю как, должно быть, я раскрыл парашют, а потом тишина, старик, такая невероятная тишина...

Голос Венсана дрожит. Я не знаю, куда он смотрит в темноте, какой мир мерцает в нём в эту секунду. Он лепечет, словно ребёнок:

— Внизу поля, рощицы... Далеко внизу Бельгия... странная, крохотная земля, очень далёкая, там, наверное, люди... Но мне плевать было на всё это. Я был в другом мире, понимаешь, в другом! В абсолютной тишине, в полном оцепенении... Много раз я прыгал с парашютом, но на этот раз... земли не существовало, я оказался в другом мире. Потрясающая тишина! Ты не поймёшь.

— Я понимаю!

— Головой понимаешь, но это совсем не то... Ах! Эта тишина... за ней другой мир... я смеялся там, наверху, как младенец, под своим парашютом... и плакал. Казалось, я только что родился... Пойми, мы совершенно ничего не понимаем. Я годами жил под гнётом ужасной тяжести, не понимая этого, и вдруг всё исчезло, всё изменилось. Я был лёгким-лёгким... я был по ту сторону...

Светлячки начали свой фосфоресцирующий танец. Иногда наверху, на каком-нибудь дереве, вспыхивал одинокий огонёк. Небо — не более одной вспышки светлячка. Возможно, его нетрудно удержать в ладони, только бы знать как. А потом войти с ним в гармонию. Но мы недостаточно для этого пористые. Вот почему приходится дышать.

— Удивительное дело, Иов: не знаешь после этого, как жить, жизнь становится невыносимой.

— Все несчастье в том, что на самом деле мы не на той стороне... ни на той, ни на этой, мы в промежуточном мире. Что-то вроде потерпевших кораблекрушение, только без катастрофы.

— Смешно сказать, но у нас нет больше водки, нечем промочить горло.

Я слышу, как внизу плещется в бухте, накатываясь на базальт, вода — счастливая бухта... но я не совсем здесь. Бываем ли мы вообще, когда-нибудь, полностью здесь?

Полностью, всецело, как корова на лугу.

Да и она вряд ли. Мы здесь только наполовину и совершенно не знаем, где скрывается другая половина. Потому и бегаем, как одержимые.

Чего нам не хватает в вещах, в нас самих?.. Если бы можно было стать другим, совершенно другим! Сбросить, как змея, старую кожу, пусть болтается на дереве, и плыть... вместе с водой. Плыть вместе с водой, плыть обнажённым, неудержимым, нырять до самого дна, среди водорослей и валунов великого зелёного царства — и найти там дверь... Чтобы не было больше нужды ни в лесе, ни в чём и ни в ком! Чтобы быть всем!

— Эй, Иов! Ты спишь?.. Как по-твоему, на острове Пасхи тоже есть сыщики, которые потребуют у нас документы?

— Наверняка. С пером в заднице и с конституцией в кармане.

— Но куда же в таком случае бежать, чтобы обрести наконец покой, настоящий покой?

— Послушай, что я тебе скажу... ты знаешь, почему мы здесь?

Венсан что-то проворчал.

— Потому что мы любим.

— Кого? Обезьян?

— Обезьян, жаб, консервы... возможно, огромную игуану, которая несёт золотые яйца, летучих рыбок, не знаю, что ещё... чудо в бутылке.

— Ты, кажется, с приветом!

— Мы просто любим и всё, это наш способ дышать.

Прямо под гамаком я слышу Жозефа. Он приходит каждый вечер, залазит в одну из моих теннисок, прогуливается внутри, потом изрыгает дюжину бемолей и, довольный, удаляется. Миллионы насекомых танцуют, вибрируют, стрекочут в огромном лесу. Мухи-журчалки роятся вокруг гамака со своими крошечными бенгальскими огоньками. Вскрикивает ночная птица — она явно сидит на мариакуго с длинными корнями, что возле бухты. Ах! Всё здесь исполнено любви! И даже смерть не является выражением ненависти. Единая жизнь, единый нескончаемый сон, который неистовствует от радости, земля с корнями и высокие зелёные купола с насекомыми, с тысячами лиан, которые обрушиваются в изобилие смолы, как толпы богов в храмах Индии. Все воспевают единую Мать, её бьющую через край радость. Всё здесь исполнено любви.

Я прислушиваюсь к нескончаемому рокоту, я слушаю поющую бухту. Я уже не это одинокое, давящее тело — на ниточке благовония я улетел к моим братьям с огромными корнями, к моим скачущим братьям, я направился к ним на цыпочках. Существует только этот рокот, как будто доносящийся с очень далёкого моря, что катит свои волны по земной поверхности.

Первый день в Кайенне, в этой людской трясине. Такое впечатление, будто попал сюда с другой планеты.

На всех улицах густой липкий поток, почти такой же плотный, как латерит под ногами. Похоть, повсюду похоть, мелкая, золотушная — настоящая проказа, выглядывающая исподтишка. Клейкие нити соединяют людей как попало в один клубок на улице де Голля, на площади Пальмист. Зыбкие желания плывут косяком в дневных парах среди лотков с ананасами. Карликовые, крадущиеся, они тут же готовы задохнуться или исчезнуть. Усталость. Неодолимые привычки сочатся в розовой тени. Вещи

цепляются со всех сторон, как вороватые руки, которые ощупывают, тянут, растаскивают и потихоньку убивают: руки, чтобы брать и ничего не давать. Фальшивые, воровато ускользящие глаза — мы ещё не люди.

Ты уже успокоился, Венсан. А я здесь, среди них, как в ловушке. Мне ещё надо искать этот покой, защищаться, оснастить "Пилигрима" против их низких страстей. Я оснащу, клянусь тебе, эту большую синюю яхту и буду свободен, как ты мечтал о нас обоих. Свободен наперекор всему, клянусь тебе!

Восемь месяцев ожидания. Возможно, семь, если сухой сезон наступит раньше, чем обычно... даже шесть, если считать месяц, чтобы подняться в горы. Сейчас там всё затопило.

Шесть месяцев в эфирной вони, в мире разлагающихся вещей...

Они не помешают мне снова уйти в лес. Они не смогут. В конце концов, я свободен, а Венсан умер от лихорадки.

В принципе, этот полицейский инспектор не такой уж злодей. Он исполняет свой долг. Я сам ходил к нему и всё объяснил.

Два сипая у входной двери выглядели так, словно только что покинули театр Магадóр, но вовсе не смеха ради. Свобода, Равенство, Братство — мне это ни о чём не говорит, в том числе и эта символическая граната среди фиолетовых бугенвильей. На мне брюки с пятнами плесени и дырявая сорочка. Вид, конечно, далеко не комильфо.

— Так что же вы там делали?

— Искал золото.

— У вас есть разрешение?

— Разрешение?

— Значит, самовольно... Ваш паспорт?

Гипсовая Марианна похожа на торговку сыром. Всё в полумраке, кроме прямоугольника жёлтого света на письменном столе. Солнце, вероятно, никогда сюда не проникает. Ставни закрыты. Инспектор толстый, весь как из мягкого воска. Он пишет.

— Леглоэк, Иов. Родился 30 октября 19... в Бель-Иль-ан-мер, Морбиган. Вы работаете в администрации колоний?

Его голос смягчился.

— Нет.

— Так написано в вашем паспорте.

— Я работал в колониальной школе, но уволился.

— Хм... а почему?

— Личные причины.

— Надо же...

Он листает паспорт.

— Вы, можно сказать, много путешествовали. Индия, Афганистан, Египет... что же вы там делали?

— Так, этнография...

— Что?

— Ну, дела.

— Так... А кто вы теперь?

— Геолог.

— В какой компании работаете?

— То есть... Я ни в какой компании не работаю.

— Да? В таком случае вы не геолог.

Зачем писать всё это? Не знаю... Из-за этого хлама в комнате, где я чувствую себя, как заблудившийся баклан. Из-за сестры Марты, из-за злобных белых людей? Они абсолютно правы. Все на своём месте в потоке вещей, все чувствуют себя как дома.

Ну вот, начинается. Из сада доносится негромкое бормотанье, скользит с тёплым паром вдоль веранды из маленькой молельни, которую оборудовали внизу, возле операционной.

*Башня из слоновой кости*

*Молись за нас*

*Зеркало справедливости*

*Молись за нас*

*Спасение калек*

*Молись за нас*

*Пристанище для рыбаков  
Молись за нас.*

Сейчас, наверное, четыре часа. Это будет длиться до пяти, прерываемое восклицанием: "Благословенна Ты, Приснодева Мария!" Словно жужжащие комары по вечерам в лагере Трѐзор.

— А этот Венсан, от чего он умер?

— Что-то вроде лихорадки. Весь распух, голова, ноги... Я пытался его нести. Потом решил переждать. Через три дня он умер... Умер без вас, без ваших санкций.

— Что с вами?! Место кончины?

— У вас есть карта? Нет, конечно. Это случилось в одной из тысяч бухточек, которые там сплошь да рядом. Бухта Венсана. Вам этого достаточно?

— Но-но, не забывайте, с кем разговариваете! Необходимо провести расследование. Когда он умер?

— Я забыл число. Где-то в октябре или в ноябре. Можете поискать его, если муравьи что-то оставили.

— Знаете, любезный, я бы на вашем месте не умничал. Без профессии, без разрешения. Смерть... Прямо скажем, всё не как у людей... А золото вы нашли?

— Разве я похож на убийцу?

— Внешний вид ничего не доказывает. Во всяком случае, я обязан провести расследование, составить отчёт... Вы сами уволились из колониальной школы или вас уволили?

— Послушайте!

Ничего больше не нашѐлся сказать, кроме "послушайте"... И вдруг месяцы, проведѐнные в джунглях, форсированные переходы отозвались свинцовой тяжестью в ногах. Кости, должно быть, устали... Но нет, я блаженствовал там до самой его смерти.

Это люди меня утомляют. Я устал, устал, как старая лодка на морском берегу. Мне хотелось лечь и закрыть глаза, погрузиться в спокойную, одурманенную опиумом ночь, как некогда в Индии. Я не отсюда, я ошибся жизнью.

— Покажите его документы.

— Чьи документы? Венсана? Они там.

— Как там? Не хотите ли вы сказать, что оставили документы с трупом?

— Я много чего оставил, когда выбирался.

— Но документы, черт подери, всегда хранят! Ваша история очень неясна. Известен ли вам, по крайней мере, адрес его семьи?

— Он никогда не говорил о семье.

— А какая у него была профессия?

— Во время войны он был лётчиком-истребителем.

Инспектор возводит руки к небу — чаша его терпения переполнилась. К тому же он ещё не восполнил пробел о побеге Венсана. В общем, я оказываюсь вещественным доказательством. Им нужен труп.

Вдруг я вспоминаю "Смерть гадам!" на стене моей камеры во Френ. Бывают слова, которые вот так внезапно обретают смысл.

— До окончания расследования вам запрещается покидать территорию без моего разрешения... А золото, вы нашли золото?

— Нет, то есть совсем немного, грамм сто.

— Хорошо. Я поставлю в известность моего коллегу из Управления рудниками. Скорее всего, золото у вас конфискуют.

— Это ещё почему?

— Вы уплатили пошлину за въезд в страну?

— Да, сорок тысяч франков перед самым отъездом из Франции.



— Я наведу справки. Тариф подняли до шестидесяти тысяч. Вам придётся заплатить разницу.

— Но у меня нет таких денег!

— Возможно. Где проживает ваша семья?

— При чём здесь моя семья? Имею я право быть один или нет!

— Конечно.

Инспектор смотрел на меня каким-то вьедливым взглядом. Он вовсе не злодей, он исполняет свои обязанности.

Вдруг я словно бы выпал из происходящего. Поплыл вокруг лампы, продрейфовал вдоль тусклой карты, где Кайенна вырисовывалась раскрашенными секторами, потом ухватился за солнечный лучик, пробивающийся между двумя ставнями, и лёг на спину.

Они все так далеко, мне нет до них никакого дела!

Эта сквозная полоска солнца придаёт мне какую-то особую радость. Она здесь, и для меня она родная. Она всё время здесь, мы с ней вместе. Ничто не может нам помешать. Она невероятно лёгкая и однако же очень прочная. Я уплываю в её золотистой прозрачности на невообразимое расстояние.

Инспектор зачитал очень длинный протокол. Я подписал. Паспорт мне не вернули. У меня потребовали две фотографии в фас и две в профиль, я пообещал принести.

— А ваши военные документы... военные, вы слышите? Покажите-ка... Разумеется, вы не заявили о перемене своего места жительства. Я вам сообщу... Итак, вы не соответствуете требованиям закона, и у вас нет средств к существованию.

Пора бы уже привыкнуть к их методам запугивания и знать, что они ничего не способны мне сделать, разве что затаскают. И всё же всякий раз, когда я обнаруживаю, как они потихоньку совершают свои мелкие гадости, мне становится стыдно.

В этом-то и беда: все мы в одном мешке.

Наверное, я никогда не привыкну... Я знал людей с безвольными лицами, прорезанными жестокой складкой, людей, которые с радостью ласкают пистолет под бежевым габардином, надевают вам наручники и бьют в лицо, словно утоляя жажду мести. Я знал такие тяжёлые преступления, как убийство детей, которые жгут, как застарелый стыд, я видел кровь, звёздами растекающуюся в пыли кабинета: капельки, стекая одна за другой, оставляют долго несмываемые пятна.

Я выполнял все требования полицейских. Они ничего не могут сделать, но они давят. Давят.

А в больнице Сен-Поль всё время молятся:

*Агнец Божий, искупающий грехи мира,  
Помилуй нас, Господи,  
Агнец Божий, искупающий грехи мира,  
Внемли нам, Господи,  
Агнец Божий, искупающий грехи мира,  
Сжалься над нами, Господи.*

Палачи так же печальны, как и их жертвы. Но я не жертва, я вообще не из этого мира. Я говорю: нет!

Ястребы кружат вверху, в голубом небе, где даже голубизна прогнила. Минуют геологические эпохи, а они всё кружат и кружат.

И будут продолжать кружить, невозмутимые, до конца эона, когда истощатся все наши крики и мольбы, когда умрут и виновные, и невинные, когда земля всех уравниет, когда придут иные судьбы, иные люди закона, иные блюстители самого безжалостного мира, чтобы закончить нивелировку, завершить шлифовку народов. Господин Бертильён будет предводителем показательного стада. Ястребы будут выписывать свои орбиты над слишком напоминающими людей соборами в окружении французских парков. И не останется больше виновных, будут только судьбы и стражи — люди верные и благонадёжные.

И они будут убивать друг друга, чтобы наделить смыслом свои тюрьмы.

И повсюду будут питаться падалью.

Возможно, вы не чувствуете, что всё это давит, как рыба не чувствует давления воды? Всё зависит от плотности. Но есть и такие, кто никогда не привыкнет, и они летают и летают — я видел рыб, выпрыгивающих из Индийского океана на свет Божий с раскрытыми плавниками, — вероятно, они сохранили память о том, что когда-то были птицами?

Возможно, вы ничего не знаете. Но стоит хотя бы чуть-чуть взглянуть из своей клетки, и вы всё увидите. Как это странно! Вы увидите, каким приходится быть мужественным и как надо вертеть талреп для натяжки вант, чтобы не сорвало мачту.

Вы увидите, что все мы зажаты, что нам указаны чёткие границы: метрики, сведения о судимости, залоговые дипломы, — настоящее Саргассово море! Мы зажаты до самой могилы, включая похороны, мы пожизненно заключены в воскресный Вожирар в окружении тусклых трёхкомнатных нор, оплёванные, удостоверенные и аттестованные. Прочно связанные общностью имущества при женитьбе, социальным страхованием, профсоюзами, под многоцветной сбруей, со звёздочками на хомуте — все время в упряжке!

И если однажды, по счастливому стечению обстоятельств, вы начнёте вдруг задыхаться, если вы вспомните об открытом море и попробуете наняться моряком на Кергелэн или Новую Землю, вы узнаете, что думают по этому поводу в Управлении по найму моряков: открытое море давно занесено на карту — миллиарде-

ров или утопленников. Остаются только странствующие монахи и бродяги, которые ещё не создали своего профсоюза, хотя, впрочем, странствующих монахов давно уже нет, а бродяг пересажали по тюрьмам. Да и зачем Кергелен, когда есть кино, которое можно смотреть, не выходя из дома!

Вы можете, конечно, попросить билет в Бомбей или в Гóтхоб, если вы ещё мечтаете о Снежной Королеве, что живёт в своем хрустальном дворце в Гренландии. Попробуйте! Я пытался. Я испробовал все комбинации, чтобы выскочить из клетки. Чего я только ни делал! Я стал таким же изворотливым, как египетские таможенники, и таким же гибким, как индийские йоги, чтобы лавировать в их анкетах. Я улыбался и, словно такса, вилял хвостом перед чиновниками посольств, а сердце моё бешено колотилось в ожидании паспорта. Я задыхался, задыхался в паспортной агонии.

О брат мой, мечтающий о свободе!.. горе тебе, если ты не соответствуешь предписаниям консульств, если ты не турист и не серьезный бизнесмен, если не имеешь счёта в банке, если не завербован на три года фирмой, производящей туалетную бумагу или пластмассовые расчёски, если ты ничего, кроме самого себя, из себя не представляешь, короче говоря, если ты подозрительный тип.

Открыть мышеловку? — ты сразу вызовешь подозрение, клянись тебе! Словно ты ещё один раз родился и смотришь на мир широко открытыми глазами.

Это должно было случиться. Сестра Марта пришла ко мне, дрожа от негодования.

— Вас вызывают в Управление рудниками.

— Хорошо.

У сестры Марты губы не толще стальной оправы её очков. Она оглядывается вокруг с глубоким отвращением.

— Вы должны навести здесь порядок!

— Хорошо.

— Вот уже три недели, как вы живете в полнейшем беспорядке... Внешний вид отражает внутреннюю суть... Директор Управления рудниками, безусловно, захочет знать...

Она права. Я так и не удосужился закрыть этот ящик, привести в порядок остатки снаряжения, словно бы ещё раз похоронить Венсана, а вместе с ним и какую-то часть себя. Сестра Марта ходит вокруг меня кругами:

— Правду говорят, что вы нашли много золота?

— А правда, что младенец Иисус спустится в воскресенье в ясли? И что Мать Святого Духа будет раздавать индульгенции? А-а? Какое счастье!

Сестра Марта покраснела. Она исчезла, прервав расспросы.

И постоянно присутствующий исподволь запах эфира, как в Индии запах больного цветка, распространяющийся по ночам.

Директор Управления рудниками смотрит на меня с любопытством, но не враждебно. Он пытается понять, хотя это ему не удаётся. Я держусь нейтрально. Нужно подавить в голове и в сердце все вибрации, прекратить, как каракатица на песке, всякие движения, иначе они затронут рикошетом другого и искры вспыхнут раньше, чем успеешь открыть рот. Внутренне я пытаюсь отвести угрозу.

— Сколько вам лет?

— Двадцать шесть.

— Молодой, да ранний!

— Да. В двадцать лет меня учили уму-разуму в концлагере.

Слова вылетели как-то сами, я не успел даже подумать. Какое-то мгновение он смотрит на меня круглыми глазами, потом погружается в разбросанные на столе бумаги, точно хочет привести их в порядок. Какой я идиот! Нужно было любой ценой расположить его к себе! Всё испорчено. Он спрятался в свою ракушку, как рак-отшельник. Какая глупость!

Директор включает вентилятор, и все его бумаги разлетаются.

— Что за страна!

Я опускаюсь на четвереньки и собираю его листочки. Я дурак, последний дурак. Как можно простить себе такое?

— Оставьте. Оставьте же!

Он нервно зазвонил в колокольчик. Секретарша закончила сбор бумаг. Венсан говорил: "Мы их стесняем".

— Проклятая страна! Два года уже здесь... В общем, господин инспектор рассказал мне вашу не совсем ясную историю... Но меня это не касается, я не полицейский.

— Вы проверяете достоверность сведений?

— Нет, но если дело касается золота...

Сейчас он примется за своё! Они не способны смотреть на вещи естественно! Директор вертит в руках образец кварца.

— Так что же?

— Никакого дела, господин директор, по той простой причине, что золота у меня нет.

— Инспектор сообщил мне другое. Разве вам не известно, что существует концессия на право искать золото?

— Но...

Резким жестом он положил камень. Я стискиваю зубы и глотаю слюну. Необходимо любой ценой спасти ту жилу. Это свобода. Моя свобода против этой организованной банды.

— Я не знал этого... Думал: девственный лес... К тому же наше приключение вышло для нас боком... Я выполню все необходимые формальности. Я вам обещаю...

— Нужны доказательства, что вы имеете средства для эксплуатации предоставленного вам сектора. Обычно мы заключаем договор с компанией, которая вкладывает свой капитал.

Директор упёрся локтями в стол и, скрестив руки, перебирает пальцами.

— Необходимо иметь твёрдое положение в обществе и предоставить гарантии... Если раздавать концессии налево и направо, территория будет разодрана на части бандой авантюристов, и ни одного грамма золота с нашим клеймом. Все концессионеры жалуются на причиняемое старателями опустошение — они изрыли всю землю. Никакой возможности нормально работать.

— Но все ваши золотодобывающие общества в Кайенне разорились одно за другим.

— Именно потому, что им не хватает площади.



Вот так. Я пойман,мышь. В голове у меня мелькают разные мысли: из Италии можно пробраться в Голландскую Гвиану... но у них повсюду сыщики и там, конечно, тоже. Или же договориться с бразильцами, которые ходят в каботажное плаванье.

— Хочу вас предупредить, что, если вы попытаетесь вывезти золото в большом количестве, я это узнаю. У меня есть информаторы. Во всяком случае, о вас уже известно и в аэропорту, и в гавани.

— У меня около ста грамм.

— Если это так, я закрою на них глаза, но в противном случае...

— Закроете глаза! Что за шутки! Разве вы его искали? Разве вы отмахали пятьсот километров по бухтам и по лесу, волоком тащили лодку через завалы, сражались с заразой и голодали? Вы!?

— Вас никто не заставлял пускаться в эту авантюру. Ещё повезло, что, в отличие от своего приятеля, унесли оттуда ноги.

— Повезло... Но, в конце концов, что означает эта концессия? Я встречал на Маронí десятки старателей: из Сарамака, Босха, Сен-Люсена, антильцев, негров из всех Гвиан... насколько мне известно, у них тоже нет разрешения!

— Возможно. Но ведь вы не негр!

В цехах Бюро по разработке рудников раздаётся лязг железа. Туда то и дело въезжают грузовики и выезжают с грузом для судна, которое скоро отчалит на Саул или Кав. Я машинально пересекаю двор, который делят между собой Управление рудниками и Бюро по разработке рудников. В голове у меня пусто, под ложечкой сосёт. Механики суетятся вокруг огромного бульдозера, перекрывая рёв дизеля, выкрикивая команды. Меня обманули, обманули, обманули... За стенами тянутся пустыри с кокосовыми пальмами, мусорными отбросами и полянками каких-то лиловых цветочков. Показалось море под западным бризом, всё в ряби, словно кожа ящерицы. "Пилигрим"...

В кармане лежит кожаный мешочек с моим богатством. Его содержимое пересыпается под пальцами, как песок. Даже не самородок — золотые песчинки, собранные по одной в грязи и поте, на который летели комары... Придётся все это ликвидировать. Купюра в пять тысяч, которую я чудом обнаружил в вещах Венсана, кончается. А "Пилигрим"?

Восемь месяцев ожидания, возможно, шесть... нужно заплатить сёстрам. Ни негр, ни белый, какой же я расы?

Куры и собаки бродят среди остатков раковин и гнилых фруктов. Издали, с судна, отправляющегося к островам Спасения, доносится рёв сирены. Он оповещает отбытие.

Год назад, на корабле "Гасконь", я встретил Венсана. Но все это уже из другого мира, возврата нет — каждый день отдаляет меня, усложняет моё положение, и я не знаю, куда я иду... Там были учителя и чиновники, возвращающиеся из отпуска с Антильских островов, — все эти пары, слегка отравленные вином и духотой. И вдруг я услышал за своей спиной голос: "Всех бы на тот свет отправил, а потом сам ушел... как Убю", — это был Венсан. Он привёз своего короля Убю в эти непроходимые джунгли. Единственная книга, которой он восхищался... Вот и он ушёл. А я остался, я ещё у них. Их на тот свет всех не отправить, они намного сильнее нас.

Местные жители жгут серые дрова и пекут на них черные ракушки. Дым стелется по земле, потом рассеивается в губчатой испарине между обожжёнными стволами кокосовых пальм. Да, значит, небо не прояснится.

Железные молоточки стучат и стучат в моей голове. Я не сдамся, не сдамся... Я всё равно отправлюсь искать золото, чего бы мне это ни стоило, оснащу своего "Пилигрима", стану свободным... Надо договориться с бразильцами, да, именно с ними; они вывозят контрабандой кокаин, наверное, и золото. Я им заплачу.

О! Как я их всех ненавижу! Все окружают меня: полицейский инспектор и директор Управления рудниками, таможенники и сестра Марта — все они из одного теста. Везде это белое зло!

Вдали, на горизонте белая полоска: остров Спасения. Рядом крохотные островки: Отец, Мать и Младенцы, чуть поодаль — потерянное Дитя, на нём собрались стаи хищных птиц. Железные молоточки стихли. Полдень. Снова гудит сирена.

На первых наносах морского отлива два белых баклана, пританцовывая, охотятся за рыбой. Прибой тихонько вздыхает передо мной жемчужными брызгами, словно хочет унять мою боль, словно хочет мне что-то напомнить...

Во что ты играешь, обманывая себя, бедный золотоискатель? Во что играешь с этими хищными людьми? Ты позволил себе увлечься внешней стороной вещей, разве ты не знаешь, что находишься с другой стороны?

А море, необъятное и ласковое, доносит до меня эту полоску света, эту тихую улыбку, и тысячи золотых плавников трепещут, танцуют и сверкают на солнце, а потом уплывают к горизонту.

Я слушаю, весь погрузившись в себя, боясь, что спугну... я слушаю эту улыбку с закрытыми глазами. И вот ниточка моей любви коснулась мелкой жемчужной волны, лёгкая, как шёлк, потянула меня к белым птичьим островам.

Я слушаю до боли в ушах... Слушаю неуловимое дыхание, что вибрирует в глубинах моего существа. Приносимое легким прибоем, оно поднимается из тех далёких лет, когда я бегал по белым пляжам среди диких ароматов, — совсем лёгкое дыхание, спокойное-спокойное, пульсирующее в ладони мира за бесконечными рожденьями, как первый лепет на светлых песчаных берегах. Я слушаю другой мир.

Реки забвения замерли под сенью опрокинувшейся ночи, и, кажется, впервые приближалась заря и ласкала берега нежнейшего песка, мои спокойные и тёплые песчаные берега, куда ещё не прилетала ни одна птица и где ветер ещё не вздымал рябь, — первые искрящиеся и позолоченные берега у истоков зарождения жизни.

Я едва улавливаю плеск древних жемчужных вод, напоминающий первое трепещущее дыхание в свете удивительной зари, которая чуть алеет на кромке древнего прибоя, на едва заметной ракушке, безостановочно омываемой волнами,

*Крохотная ракушка на белом песчаном берегу,*

и последняя частичка моего "я" поплыла на гребне волны с тысячами золотых рыбок... Ах! Всё происходит в нас — словно в раковине из перламутра и известняка, откуда доносится дыхание бескрайнего моря и зов таинственных мелодий. Всё легкое, всё танцует! и потому нужно бежать, бежать, ведь мы из множества миров, неужели ты не понимаешь? Нужно бежать отсюда.

— Прошу прощения, господин Леглоэк, за беспокойство, но мне необходимо сказать вам несколько слов.

Священник больницы Сен-Поль, аббат Шюлер. У него неторопливая речь, характерная для жителей Востока, и несколько распухшая из-за жаркого климата голова. Мы уже сталкивались с ним в коридоре. У аббата смущённый вид.

— Я знаю, у вас были трудности в горах... с вашим приятелем, но, кажется, вы не очень... как бы это сказать? Ну, в общем... не очень нервничаете по этому поводу. Я понимаю, понимаю...

Аббат прячет руки в сутану и опирается на них, как на поручни. Довольно смешно, но у меня такое чувство, будто я стою перед судьёй.

— Садитесь, пожалуйста. Можно на ящик.

— Спасибо. Я всего на пару слов.

Я мгновенно вспоминаю отца Генриона у иезуитов в тот день, когда меня выгнали. Он вызвал мою мать, чтобы сообщить ей, что у меня "безнравственные" отношения с моими "приятелями". Ещё один ходок явился воззвать к моей совести. Кажется, кроме чистой совести, у них ничего нет.

— Я по поводу сестры Марты.

Уже нажаловалась.

— А что этой старой перечнице надо?

— Послушайте, любезный, вы здесь не у себя дома... Попрошу вас выбирать выражения.

— О чём вы?

— О Рождестве. Вы говорили об управляющем и иронизировали по поводу христианских обычаев.

— Сестра Марта занимается тем, что её не касается.

— Господин Леглоэк, речь идет о соблюдении приличий. Даже если вы не уважаете тех, кто посвятил себя Богу...

"Посвятил себя Богу" он произносит торжественно и словно облизываясь, как будто во рту конфета.

— Вы не верующий?

— Ну уж нет, я только и делаю, что верю! Иначе как бы я жил в вашем мире?

— Так в чём тогда дело?

— Ни в чём. Вам всё равно не понять, в вашем катехизисе об этом не сказано. У меня нет ни малейшего желания объясняться — я золотоискатель, у меня нет дома, нет профессии, я не подлежу вашему закону. Я ни в ком не нуждаюсь.

Аббат смотрит на меня с состраданием, от которого меня тошнит. Я, конечно, глупец. Вот уже три недели нервы, как у девочки. Все меня травят. А я ведь ничего у них не прошу, ничего, кроме покоя.

— Извините, мне нужно отдохнуть.

Пусть убирается прочь! Что он здесь вынюхивает? Но вправе ли я выставить его за дверь? Ведь я, как он выразился, не у себя дома.

И я спрашиваю себя, где это "у меня дома?"

— Сегодня Рождество, господин Леглоэк... праздник мира и любви...

— Какое чудо! В церквях будет полно людей в праздничных одеждах. Все будут любить друг друга под звуками органов.

Аббат побледнел и замер, как вкопанный.

— Господин Леглоэк, я пришёл не для того, чтобы читать вам, как вы полагаете, мораль, а для того, чтобы попросить вас оставить больницу!

— Слушаю и повинуюсь.

У меня першит в горле. Я понимал, что мне пора уже отсюда сматываться. Но вот этот момент настал — и меня охватывает паника. Куда идти? Мухи роём вьются над ящиком, откуда пахнет ружейной смазкой, эфиром и грязным бельём.

— Вы можете оставаться до понедельника. Разумеется, мы не выставим вас за дверь...

Он вертит в руках длинноствольное ружьё Венсана 22-го калибра и открывает затвор...

— ... учитывая вашу позицию, вам будет лучше в другом месте. Кажется, у Роже есть свободное место...

— ...

— У вас, вероятно, нет денег?

Аббат кладёт ружьё на место.

— Мальтерр предлагал вам работу в Бюро по разработке рудников, но вы отказались... странно.

— Мне плевать на Мальтерра, от его контрактов дурно пахнет, как от бокситов Кава... три года бурения с премиями за выработку и зональными надбавками... — мне это не нужно.

— Вам нужны неприятности. Вам известно, что инспектор Пуэнсо самолично проводил здесь расследование, расспрашивал управляющую и постояльцев?.. Впрочем, всё это меня, конечно, не касается.

Аббат садится на кровать, напротив меня.

— Если у вас нет денег, чтобы жить, как подобает белому человеку, что вы будете делать? Таскаться по бухте с неграми и бывшими каторжниками?

Я стискиваю зубы. Он словно ощупывает меня взглядом.

— А семья? Неужели у вас нет семьи?

— ...

— Кажется, мне следует обратиться к властям и ходатайствовать о вашей высылке.

— Но я не хочу уезжать! Что вы суёте нос не в свои дела? Что вам всем от меня надо? Я хочу остаться, слышите, остаться.

— Зачем?

— Это вас не касается!

— Это касается властей.

С меня градом течёт пот. Мухи облепили мне ноги. Такое чувство, что сейчас вырвет.

— Послушайте, господин Леглоэк, я желаю вам только добра. Здесь немало потерпевших кораблекрушение... Я понимаю вас, поверьте мне. Я сам когда-то был бунтарём...

— Но я вовсе не бунтарь!

— ...быть может, бунт — это единственный грех, который можно понять... грех тех, кто любит Бога.

— ...

— Вы, кажется, были в Индии?

Индия... это внезапно произнесённое слово ослепило меня.

— Вы искали там золото?

Индия вызывает во мне такое же тёплое чувство, как воспоминание о матери. На папайе во дворе дрозд с жёлтым клювом оповещает о появлении первой тени. Почему я уехал? Я всё время куда-то уезжаю.

— Что вы там делали?



— Ничего... я искал...

— Представьте себе, я тоже чуть было не уехал в Траванкór, в нашу миссию; я даже...

— Миссионеры в Индии? Неслыханно! Ваша претензия монополизировать Бога — выше моего понимания. Язычники составляли свои Упанишады в то время, когда вы рисовали быков на стенах пещер...

Аббат резко поднялся.

— Господин Леглоэк, вы невыносимы.

Он натывается на котелок, который с грохотом катится по плиточному полу.

— Что вы всё-таки против нас имеете?

— А что вы имеете против меня, собираясь силой выслать меня отсюда?.. Хотите знать правду? Так вот, я плевать хотел на вашу мораль! Ваша религия — религия морали, корыто, в котором отмывают грехи, а я никогда не чувствовал себя ни грязным, ни непристойным... Вы читали сегодняшнюю газету с рождественским посланием? Чёрт возьми, куда я её дел?.. вот, слушайте, это не я говорю, а сам папа римский, Пий XII:

*25 декабря 19..*

*"Церковь никогда не теряла из виду истинные потребности человека... Она знает, что мирское назначение человека утверждается и завершается только в потустороннем мире..." и так далее.*

— Ну и что?

— Мне не нужен рай, мне нужна истинная земля. А вы разделили всё на части: Бог и Сатана, Добро и Зло, ярмарка тщеславия и потусторонний мир для чистых душ. Так вот, я на стороне нечистых душ, и мне нужен единый Бог.

— Поэтому вы приехали сюда искать золото?

— Можете смеяться сколько угодно, но я заявляю, что Бог не навсегда распят на стенах ваших церквей... Рождается новая ис-

тина, новый человек, новый мир. Весь кошмар сегодняшнего дня, быть может, означает, что Бог заново рождает самого себя. Нужно найти тайну.

— Вы мечтаете об этом?

— Жюль Верн тоже мечтал.

Маленький медный колокольчик зазвонил возле молельни. Рядом заскрипели кровати — час перевязок. Со двора доносится гомон негров, пришедших показать свои раны.

— Вы мечтатель, господин Леглозк. В общем, люди остались прежними, и если Христос явится ещё раз, они сделают с ним точно то же, что уже сделали.

— Послушайте, господин аббат, возможно, я — обломок, но во мне обломилось всё ваше прошлое — двадцать веков потустороннего мира.

Поверьте мне, мы не остаёмся прежними, мы развиваемся вместе с миром — и Бог, вероятно, тоже возрастает вместе с нами... Я то и дело спрашиваю себя, много ли бы мы поняли в Христе или Будде, если бы недалеко ушли от гориллы? А что предлагает ваша Церковь, когда лицо мира изменилось за пятьдесят лет больше, чем за десять тысяч лет? Фатиму?!.. Наука вас опередила, и Запад болен. Вы цепляетесь за ваши догмы, но ваши старые представления лопаются по швам.

Вы насаждаете добродетель, а не знания.

— Если бы люди делали десятую часть того, что делают здесь сёстры...

— Дело не в том, чтобы стать добродетельным, а в том, чтобы стать сознательным. Гармония мира зависит не от человеческих дел, какими бы великолепными они ни были... Разве вы не видите, что наш человеческий панцирь расходится по швам? Взгляните, язвы вашей паствы ничто рядом с нашей убогостью.

Не добродетель сейчас нужна, а сознание, больше сознания!

И если мы действительно приговорены оставаться интеллектуалами с огромными головами, которые вынуждены ежедневно

зарабатывать себе на хлеб насущный и за это оказаться в чистилище, значит, всё это не стоит труда, и не о чем здесь говорить.

— Прекратите свое высокомерное богохульство!

— Богохульство?.. Ну да, я — еретик, я золотоискатель, мне воистину повезло, что мы живём в двадцатом веке.

Резким движением аббат вытирает пот, который течёт у него по вискам.

— Жизнь может обернуться так, что сломает вас, господин Леглоэк. Понимание нужно выстрадать...

— Как уродливо ваше страдание, господин аббат, и как вы его любите!

Аббат стоит передо мной и смотрит на меня слегка растерянным взглядом.

— Для вашего же блага я вынужден рекомендовать властям выслать вас в ближайшие дни. К тому же это положит конец дурным слухам о вас, которые ходят по городу...

— Уверяю вас, золото следует искать на крутых излучинах, у обрывистых берегов. И, естественно, на выходе из узких мест. Когда я был в Африке...

Рождественский обед. Собрался весь пансион больницы Сен-Поль. Миньяр — главный механик, Бертран — бурильщик, Жюльен и Превó — геологи, ещё несколько человек, которых я не знаю, Росс — лесник. В углу на веранде, где накрыт стол, сёстры поставили новогоднюю ёлку — филао с побережья, украсили ватой и голубыми и розовыми ангелочками.

— Ты ведь старатель, ты, наверное, знаешь?

— Дело в том, что я...

Превó смотрит на меня с любопытством, словно проверяет.

В общем гуле голосов я слышу голос Миньяра, главного механика из Бюро по разработке рудников.

— Уверяю вас, я много имел дела со взрывчаткой, пускал под откос немецкие поезда. В Жювизи́...

Он отложил рассказ о том, как глушил рыбу в бухте Саюль, чтобы поговорить о войне. Нарочно, чтобы позлить Росса.

— Ну, так рассказывай, что знаешь; ты старатель или нет, чёрт побери?..

— Понимаешь, золото не знает правил. Бывает на берегах, под холмами, где явно продолжается "слой", — Сатюрнён нашёл там самые большие скопления. Хорошие места — "зелёные" скалы... Центр бухты, где выходит болото. Но в принципе, где угодно, и ты можешь долго за ним бегать, питаюсь куаком и солёной треской. Сатюрнен давал мне самые разные советы, но...

— Он когда-то сидел в Большом Коллеже?<sup>1</sup>

— Да.

— Неплохие связи... В тот день ты был с ним на канале Лусsó?

Я поворачиваюсь к Бертрану, решив прервать разговор.

— ...маленький свирепый толстяк раздавал удары прикладом направо и налево. Но это пустяки, потому что мы одним ударом уложили полсотни.

Росс, уткнувшись в тарелку, разбирает рыбные кости. Говорят, он немец, вполне возможно. Миньяр и кто-то ещё распустили слухи, будто он бывший эсэсовец, — явная клевета. Единственный человек, который мне близок... Что за мир скрывается в голове этого упрямого викинга? Наверное, вспоминает еловый лес и смоляной ветер, под которым лес поскрипывает, как накренившийся корабль.

Росс — искатель розового дерева на Ояпóке.

— А заложники?

— По-твоему, нужно было сидеть, сложа руки?

— Десятью немецкими поездами меньше — разница невелика, но сто человеческих жизней — это тяжкий грех...

— Ты рассуждаешь, как обыватель! Война — это риск, война — смерть.

Все эти военные истории вызывают во мне дрожь. Росс сидит напротив меня, под бронзовым распятием и медицинским календарём. Я спрашиваю себя, что привязывает его к этому сто-

---

<sup>1</sup> Так называли старую каторжную тюрьму в Кайенне.

лу, к этой больнице? Регулярно, на Рождество и Пасху он выходит из леса, чтобы побыть в Кайенне. Он женился на дочери Парамари́бо, чернокожей женщине, от которой у него двое детей. Но питается он только здесь, и его здесь не любят.

— Буржуа, которые боялись попасть в заложники, во время войны все попрятались. Я видел их, этих двадцатилетних парижских парней, но не с рабочих окраин, а из университетов. Они обеспечивали себе будущее.

Миньяр пристально смотрит на меня. Его маленькие чёрные глаза не выражают симпатии.

— Это те, у кого нет будущего. Они всё время под ударом!

Я абсолютно уверен, что он презирает не только Росса, но и меня. Должно быть, учуял, что, несмотря на весь мой затрапезный вид, я — буржуа.

— А ты, бретонец, воевал?

— Как сказать...

— Кажется, не очень-то испачкался.

— Как сказать... не ты ведь один.

— Болтун! Тебя что, манерам не учили? Давай доедай свою рыбу! У меня, между прочим, четверо детей.

Лучше бы я молчал. Миньяр начал разглагольствовать. У него чёрные лоснящиеся волосы, длинные пряди свисают на худую щёку. Росс машинально вертит салфетку, сворачивает её в трубку.

— А ты, эльзасец? Не из Орадúра<sup>1</sup> ли, случайно, сбежал?

Все замолчали. Не всем эти слова понравились. Лицо Росса чуть напряглось. Он поднимает голубые прозрачные глаза, окаймлённые морщинками.

— Лично я не люблю войну, я люблю деревья.

---

<sup>1</sup> Орадур-сюр-Глан. Посёлок во Франции, уничтоженный вместе с жителями в 1944 году немцами.

— Может, тебе больше нравится черная кожа?

— Говорю тебе, я люблю деревья.

Миньяр не выпускает рыбью кость. Можно подумать, что мысль о том, что Росс не такой, как он, ему невыносима, оскорбительна.

— Однако у тебя на родине деревьев, кажется, хватает.

— У меня нет родины.

Голос у Росса такой же бесцветный, как и его глаза.

— Откуда же ты сюда явился, если у тебя нет родины?

— Оставь его в покое!

— Что ты лезешь, бретонец? Твоего мнения никто не спрашивает. Чем ты сам-то занимаешься?.. Сидишь здесь уже три недели, а рот открываешь только для грубостей. Не слишком ли о себе возомнил?

— Нет, а вот ты явно не своим делом занимаешься. Тебе бы сыщиком работать, а не механиком!

— Ну, если бы я был сыщиком, такие парни, как ты, давно сидели бы в тюрьме. Толку от вас никакого, только смуту сеете...

— Эй, хватит вам! Сегодня Рождество, пойдем все кутить к Роже.

Миньяр вытирает подбородок тыльной стороной ладони.

— Бертран, правда, что на днях бретонец сказал тебе, что, зарабатывая на жизнь, теряешь её?..

У Бертрана совершенно растерянный вид. Он смотрит сначала на меня, потом на Миньяра. Я застыл, пригвождённый этим внезапным взрывом. Кажется, Миньяр вынашивал свою ненависть не одну неделю. С тех пор как я здесь, мы не обменялись и десятью фразами.

— Мы, по крайней мере, чисты, мы что-то делаем в жизни, у нас есть цель... а такие парни, как ты или Росс, скажу тебе прямо, — пустое место.

Его неприязненный взгляд вдруг наполнил меня какой-то непонятной тревогой. Как будто я потерял опору... Миньяр сжал в кулаке вилку. Я понял, что он хочет что-то убить во мне, разрушить.

— Да, пустое место! Вас надо вышвыривать, как ненужные вещи.

— Оставь, Миньяр! Ни Иов, ни Росс ничего плохого тебе не сделали.

— Ничего не сделали... Этому парню для его же блага я посоветовал найти работу, заключить контракт, как все люди... так нет же! Господин Иов желает быть, как он изволит выразаться, свободным... Ты, случайно, не коммунист?.. Поверьте мне, такого парня, как он, следует держать под надзором и не позволять ему бегать в поисках золота, как негру.

— Пожалуй, в этом Миньяр прав. Если ты белый...

Прево с презрением смотрит на меня. Я сижу в своем углу парализованный, как будто лишился разума.

— Слышишь, что говорит Прево, дурная твоя голова? В двадцать лет я тоже вёл разгульный образ жизни, ещё похлеще, чем ты... пора кончать, господин Иов...

— Миньяр, оставь меня в покое! Я у тебя ничего не прошу. Если я не хочу дожить до пенсии и шестерых детей, то это касается меня одного!

— Ну вот, что я говорил?.. Ладно, я кончаю.

Рука Миньяра с вилкой дрожит от ярости. Что же во мне такого возмутительного?

— Я ничего тебе не говорю, Иов... И не думаю так, как Миньяр, но всё-таки...

Прево вертит в руках нож, перекатывает его по столу. И этот тоже, с видом оскорблённого достоинства, чего он хочет?

— Ты ведёшь себя так, будто ты не с нами.

— Неправда!



— Тогда почему ничего нам не рассказываешь? Ты словно зритель. Но мы ведь не в цирке... На днях я у тебя спросил, нашёл ли ты золото, а ты что в ответ? Что плевать хотел на золото. Это для старателя нелепо и тем более для старателя, у которого ни гроша в кармане. Или ты только разыгрываешь из себя бессребреника?.. Если тебе не повезло в лесу, это ещё не повод досаждать другим.

Огромные кулаки Росса сжались на скатерти.

— ... пьяный до смерти, там, на канале Луссо...

— Послушай, Миньяр, я не хочу заключать контракт, но разве это преступление?

— Ты не с нами, ты против нас. Работать не хочешь, проводишь время один...

— Я целый год был в горах и вкалывал там, как на галере.

— Прошлялся. Между прочим, что там случилось между тобой и твоим приятелем? Или не стоит в это углубляться?..

Внезапно все умолкли. Смотрят на меня. У меня здесь нет друзей, кроме, пожалуй, Бертрана. Он повернулся ко мне с чуть заметной улыбкой. Да ещё Росс... но он, как и я, на стороне обвиняемых.

— Ну так что?

— Он заболел лихорадкой, понимаешь, лихорадкой...

Лицо Венсана заполнило всю веранду, а вместе с ним — пение птиц и Базальтовая бухта... У меня пересохло в горле, я больше ничего не знаю. Я чувствую себя виновным, виновным, виновным до абсурда. По вискам Росса течёт пот.

— Ты мог бы нам объяснить...

Жюльен отодвинул тарелку и скрестил руки на скатерти. За столом воцарилась жуткая тишина. Миньяр не сводит с меня глаз. Они все повисли на мне. Нужно прервать эту тишину, нужно...

— Он распух, говорю тебе...

— А ты не растерялся и сбежал? Кажется, даже с сумкой?

Жарко. И вдруг я как будто оторвался. Я плаваю внутри происходящего.

— Дезертир! Выслушай, однако, мой совет, Иов: не попадайся мне под руку, иначе я тебя вздрючу, слышишь... как тех механиков, что халтурят. Тебе нужна хорошая вздрючка, чтобы умерить твой гонор...

— Хватит, Миньяр, хватит! У него здесь свои расчёты.

Все, как по сигналу, заговорили одновременно.

— Гюрза не опаснее, чем эфа. Когда я был в Агадесе...

Я как будто растерялся, мне стало стыдно. По скатерти ползают мухи, большие красные пятна от вина становятся по краям розовыми. Сестра Катерина молча ходит с тарелками.

Рыба не лезет мне в горло. Миньяр не спускает с меня глаз, потом медленно вытирает ладонью подбородок. "Мы ещё встретимся", — говорит он. Светло-зелёный геккон с чёрными полосками поймал стрекозу прямо над медицинским календарём — Нопирин Викарио, бульвар Осман, 17, быстрый и устойчивый эффект. Стрекоза долго отбивается, шурша изломанными крыльями. Не знаю почему, но мне вдруг захотелось расплакаться — не от ненависти, не от злости, не от стыда — расплакаться безудержно, абсурдно, как если бы я носил в себе весь этот мир, завьить под тяжестью ноши, как шакал воет на луну.

Они все здесь, Миньяр и ээсовцы Бухенвальда, Шюлер и человек из гестапо с улицы Соссэ. В этот вечер — все как один. Полицейский инспектор и сестра Марта, и ещё один из проклятого круиза, который хотел убить меня в прошлом году на горном хребте Перро, а сколько ещё тех, кого я не знаю. Это так тяжело, как будто во мне умирает ребёнок, и так старо, словно происходит в допотопные времена. Все они сжались в моём горле: они — это я сам, так кого же я ненавижу?.. Я так глубоко погрузился в своё сердце, что увидел там бездонные пропасти.

Я всё понимаю, и это раздирает мне душу.

Из памяти выплывают какие-то тени. Мы переживаем катастрофу, мы все кричим в темноте — так кого же я обвиняю? Как они все похожи! У меня тусклый разум, я спотыкаюсь везде, со всеми пьяницами, со всеми, за кого обжигает стыд.

Я опустил вглубь себя и увидел там таких животных, которые даже не существуют.

У меня меняющиеся жизни, бесконечные проклятые жизни. Они выплывают из такого далёкого прошлого, что я мог бы обнять всех присутствующих здесь, словно я страдал с ними во все времена, под любой окраской, в любом отрепье, словно я испытывал трудности вместе с ними, а может быть, стыд? Будто я был уродлив уродливостью сегодняшнего вечера и слабый, такой слабый и такой маленький со своей немощью. Разве те, кто не может видеть, не нуждаются в том, чтобы к ним протянули руки, и чтобы они были нежны, эти руки, которые исцеляют, и чтобы пролились слёзы за все их слёзы, которые пересохли и не могут пролиться? Я ношу в себе эту тяжесть, Господи, она простирается в ночи, как две руки моей души, готовой объять беспредельное страдание.

Ты не одинок, Миньяр! Разве я — не ты? И тот другой, которого я помню — однажды в Кумбакóнаме, в индийском лепрозории, с горящими глазами на изъеденном лице — медленно натягивающим покрывало, чтобы прикрыть свой стыд.

Быть может, я и есть молчание этого человека под покрывалом? Я — ошеломляющее молчание по самым разным причинам.

Но сегодня мне так тяжело, Господи, что я хотел бы спрятать лицо и скрыть то, что трепещет во мне и напоминает частичку любви.

— Когда у нас были перебои с тростниковой водкой, мы брали в аптеке спирт. Смешивали его с растворимым кофе...

— Уверю тебя, это несерьёзно. Хорошо ли мы выглядим рядом с английским королём? Они, по крайней мере, обучены манерам.

— Ты — реакционер!

Голубые и розовые ангелы на ниточках замерли неподвижно. Колокол звонит девять часов. Бертран смотрит на меня своими по-детски удивлёнными глазами.

— Не огорчайся, Иов, так уж они устроены.

— Нет-нет, я не чувствую себя жертвой. Терпеть не могу этой роли.

— А я считаю, что ты — жертва. Но, по-моему, они не правы, а я люблю справедливость.

Мне кажется, Иов, этот Миньяр не так уж и плох. Он хотел тебе помочь. Ты, наверное, огорчил его.

— Он готов был прихлопнуть меня от избытка симпатии.

— Что за глупости!.. Миньяр — работяга, он с молодых лет бродил по африканским тропам, обслуживал местное население, занимался мелким ремонтом. Он, должно быть, не один раз затягивал пояс потуже. Надо его понять... Теперь ему повезло. Возможно, он хочет, чтобы все прочно стояли на ногах. Ну, и потом, он, вероятно, сожалеет...

— Я знал одного морского служаку, которому тоже повезло. Теперь он называет себя господином Инженером. Купил яхту. В прошлом году мы плавали вместе с ним вдоль побережья Бретани. Сначала он хотел взять меня в своё дело в порту Дюнкёрк, а потом, представь себе, пытался меня убить. Наверное, чтобы помочь стать на ноги.

Этот проклятый круиз будет преследовать меня до конца дней. И его невыносимая атмосфера... У Миньяра точно такой же взгляд, как у того, из круиза.

— Ты, наверное, высказал ему своё признание, как Миньяру.

— Мы из другого мира... мы их стесняем, нарушаем спокойствие. Мы — свидетели того, что, кроме выгоды, есть что-то другое, это им опасно... Видел бы ты того, другого, ночью в Перро-Гирек, куда мы причалили! Он бежал за мной, как одержимый, и вопил : "Я убью тебя, убью!" Фуражка яхтсмена, лак

цивилизации — всё мигом слетело. Это больше, чем убийство, — как в первобытные времена.

— У него сдали нервы.

— У всех сдают нервы, стоит только прикоснуться к их добропорядочности. Чистая совесть буквально у каждого. О-о! Какой непобедимый вид! Как они вольготно держатся, как самоуверенны и непогрешимы!

Миньяр смотрит на меня. Бертран ковыряется в зубах. На веранде, в неподвижном воздухе отражается каждый звук. Эта ночь... эта ужасная ночь, когда я бродил по горным карнизам Перро под морозящим дождём в период равноденственных приливов. "Я убью тебя!.." Эти слова, словно злобные псы, преследовали меня всю ночь. Повсюду стояли одинаковые закрытые сентябрьские виллы, одинаковые зелёные изгороди и массивы голубеющих гортензий, холодных, как отсутствие. Я дёргал звонки, как одержимый, хотел найти пристанище, тепло, дружескую руку...

Мне нужен был живой человек.

Его отсутствие сводило меня с ума. Я был на улице, всё время на улице, всю ночь бродил под дождём.

С тех пор это сидит во мне, как рана.

— ...Совсем маленький кайман, вот такой, не больше. Я раздробил ему череп мачете и положил в расщелину скалы, в холодок. Решил, что заберу его вечером, возвращаясь в хижину. Так вот, старик, шесть часов спустя он был ещё жив. Я чуть было...

— Хвост крокодила с майонезом такой же на вкус, как мерлан. На днях, когда мы поднимались на Беф-Мор...

Миньяр через каждые две минуты останавливает на мне взгляд, словно я его гипнотизирую!.. Какая же нужна сила любви, чтобы снять проклятие, которое делает двух людей чужими. А у меня, наверное, нет любви — нет даже ненависти, чтобы помочь самому себе. Одна пустота, тяжесть, которая на меня давит, бесконечные слои, чёрный осадок, накопившийся за эту ночь времен... Выплеснуться! Выплеснуться существом без границ, пронцаемым человеком, причастным ко всему сыном неба, сыном

истинного света. Всё будет истинным! И будет всеобщая любовь.

Но я здесь, среди них, плотный, тяжёлый, липкий, как галлон каменноугольной смолы.

— У тебя неприятности, Иов, из-за того, что ты не хочешь уступать. Это выводит их из себя.

— Я не сказал Миньяру и двадцати слов.

— Но как ты их сказал! Ты и представить себе не можешь, до какой степени ты их провоцируешь. Ты никогда не уступаешь.

— И не хочу уступать! Уступать то, что является моим истинным я?.. Нет, я не собираюсь изображать из себя куклу, чтобы понравиться им, не хочу заниматься самоубийством, нет!.. Впрочем, они-то и есть самоубийцы.

Бертран пожимает плечами.

Оно здесь, вопреки всему, моё я, неотъемлемое, неуловимое, и это приводит Миньяра в бешенство. Моё я реально, несомненно, непоколебимо, моё одинокое я, невесомая звезда, что сильнее всякой смерти. Моё я, которое может смеяться в концлагере, жить в пустыне и презирать все законы; я, которое может обойтись без них. Вот, что для них непростительно, — скала моего существа, навсегда свободная, неприкасаемая, как огонь, который даёт жизнь и убивает... частица Бога, быть может?

И тогда ни Миньяр, ни кто другой ничего не может со мной поделать. Но если я забываюсь... тогда я виноват, виноват — моя ночь в Перро — я немощный и слабый, как загнанный зверь перед сворой собак.

— Жюльен, сколько ты здесь пробудешь?

— Хочу протянуть полгода.

— А что в отпуске собираешься делать?

Воздух густой, хоть ножом режь. Сорочка прилипла к телу. Большой, почти прозрачный муравей суетится возле банки с сахаром. Голоса вибрируют вокруг меня, как на вокзале после бес-

сонной ночи. И везде, до самого курятника, этот вкрадчивый запах эфира...

Я начинаю скользить в своё сжавшееся прошлое, вливаться в вещи, в это блюдо с зелёной и оранжевой папайей, украшенное ярким цветком канны. Как будто погружаюсь внутрь.

— А те, что на боксите... двадцать тысяч франков в месяц, да ещё без вина. Стоило ли ради этого приезжать на экватор? Кстати, и вино сюда привозят кислое.

— Всё зависит от премии за выработку...

То же самое говорили французы перед бараками Маутхаузена. Безостановочно — о кухне, о кулинарных рецептах. Перед воротами крематория — о тушёной говядине. Здесь лес вызывал разговоры об отпуске, всё время об отпуске, всё время об экономии. Они унесли бы, если бы смогли, свои банковские чеки и кофе-с-молоком-да-хлеб-с-маслом на самое дно ада.

Впрочем, эти люди в ад вряд ли попадут. Да и в чистилище недолго задержатся.

Там я видел только русских и греков, потому что им плевали в лицо. Меня тоже не любили — это точно.

На коробке с кальцием теперь три муравья. Вокруг меня всё плывет и смешивается — я с трудом удерживаюсь в центре. Если удастся войти в сердцевину этой папайи, всё станет просто, быть может, всё разрешится? Нужно оттолкнуться от одной вещи, понять единственную вещь, вникать в неё до тех пор, пока она не раскроется — и всё таинство мира брызнет оттуда в потоке света.

— Расскажи про Индию.

Мне пришлось вытаскивать себя из этого состояния, чтобы ответить Бертрану, как если бы продираться сквозь водоросли и долго ощупывать руками вещи, прежде чем прийти в себя. Тем не менее, я здесь, я бодрствую, но я не снаружи. Каждый раз приходится привыкать жить заново.

— Ладно, старик, забудь о Миньяре.

— Да плевать мне на Миньяра!

— Тогда расскажи, что ты там видел.

— Не знаю... я люблю Индию.

С тех пор, как я уехал оттуда, эта страна стучится в мою дверь. А когда я о ней не думаю, напоминают другие, словно она подаёт издали знаки. Во мне не страна, а как бы дуновение, которое струится издалека и возникает перед глазами позолоченным алтарём.

— Ну так что?

— Ты знаешь Париж... его торопливых и серых парижан, которые вечно смотрят себе под ноги. Так вот, в Индии у людей есть время... у них есть время. Можно подумать, что они живут в вечности. Светлый взгляд, улыбка. Другое измерение...

— Другое измерение?

— Больше пространства, если хочешь.

— Это правда, у нас постоянно не хватает времени... тяжкая ноша.

Когда Бертран взволнован, у него чуть шевелятся уши. Свои длинные светлые волосы, почти выцветшие, Бертран зачёсывает назад.

— Можно подумать, что жизненные потребности не имеют для тебя никакого значения. Как ты устраиваешься?

— Все жизненные потребности, Бертран, мы, торжествующие ослы, придумываем себе сами.

Бертран улыбается; наконец-то я согрелся.

— Иногда мне хочется быть таким, как ты...

— Послушай один секрет — непростой. Вот... Ты раз и навсегда отказываешься от будущего, отбрасываешь его. Всё оставляешь снаружи, ничего внутри — ничего, кроме своей веры в чудо.

Тогда всё придет. Всё придет, несмотря на Миньяра и ему подобных. Они бессильны против этой силы, против этого огня.



Но нельзя плутовать, понимаешь, нельзя ожидать никаких золотых гор и не знаю чего ещё, никакого будущего... только тогда случится истинное чудо, и оно всё изменит. Это нелегко... Если ты решишься, ты как бы нарушаешь табу, и на тебя всё повалится — быть может, испытания, чтобы проверить, не плутуешь ли ты. В общем, это как вступление в мир порядка — удивительного порядка.

Но жизнь при этом меняется. Всё приходит, всё удаётся! Как если бы настоящее взяло на себя все заботы о будущем. А раньше ты заботился о нём сам.

Ты лежишь на спине, а внутри пылаешь. Что-то вроде апостола — фантастического апостола.

Бертран пристально смотрит на меня. В нём словно всё перевернулось, и в то же время он как будто застыл от страха.

— И тогда всё приходит, Бертран, даже золотые горы. Только тебе плевать на них. Понимаешь, плевать! Есть только чудо — вся жизнь идёт внутри, как в пасхальном яйце.

Нужно, чтобы это пришло. Это необходимо, это главное, — голову даю на отсечение! Понимаешь, все эти жизненные потребности... Ты ограждён от них как магическим словом, ты спокоен, словно спасшийся от крематория — ты всё сжёг, ты уже мёртв, но ты по-настоящему жив, ты избежал этой жуткой свалки! Кто тебе отказывает в сокровищах инков, ЕСЛИ ТЫ ИХ ХОЧЕШЬ, или всё Перу целиком, ибо мир, который ты ищешь, — истинное сокровище, которое окупит все эти крохи!

— Ты не из рода человеческого, Иов!

— Зачем путать род человеческий с человеческой посредственностью?..

Ах, как они мне надоели с их заученным запасом слов! Человечество... всё время слова, которые ни о чём не говорят, только разъединяют.

— Провести жизнь за одним занятием, играть одну-единственную роль — отца семейства? И это человечество?.. Есть такие растения, у которых чудовищно развит один орган.

Так вот, человек — это растение "отец семейства", сверхогурец, мыслящий и производящий потомство.

Бертран катает хлебные шарики. Кончится всё тем, что я и его выведу из себя. Надо быть нейтральным, совсем никаким, как живот хамелеона. Или молчать, как Росс.

— Всё это очень мило — Индия, твои чудеса, но ведь они мрут там от голода, как мухи. Возможно, мы со своими потребностями — варвары, зато у нас нет голода!

— Нет голода? Вдумайся, Бертран, на Западе тоже мрут от голода. Сколько идей, в рот кладут одни идеи! Не обращают внимания на жизнь, на опыт. Повсюду господствует школьный учитель, сознание которого измеряется килограммами прочитанных книг. Ах! Как все умны! Потому ничего и не понимают, что стремятся все объяснить.

— В этом ты, пожалуй, прав. Мысль вводит в заблуждение. Всегда находятся доводы и "за", и "против", есть свои причины любить, и свои — ненавидеть. Нужно полагаться на действие. Что касается меня...

— На какое действие? — на золотоискательство, на бурение?.. Всё это — мелочная слепая суета, порой оплачиваемая, но вовсе не настоящее действие!.. Надо начинать с другого конца, с сознания.

— С какого сознания?

— Если бы я знал... Вероятно, со сверхсознания, с какой-то противоположности обычного сознания. Именно с этого конца и следовало бы действовать — такое действие имело бы реальную власть, оно бы преобразовывало вещи. ВЛАСТЬ, ты понимаешь?

Кто сознателен, тот может.

В Индии это знают, но вся беда в том, что те, кто может, не имеют желаний делать... вероятно, потому что мир ещё не готов.

— Но если тебе так нравится в Индии, почему ты оттуда уехал?

— Я тоже иногда себя об этом спрашиваю... Жажда приключений?.. Наверное, я ошибся в выборе приключений.

— Эй, Иов!

Жюльен окликает меня с другого конца стола.

— Говорят, ты завтра переезжаешь... У меня есть приятель, который уезжает из Сола.<sup>1</sup>

Я киваю головой и слышу, как Миньяр бурчит: "Одним меньше!" Ещё один переезд, всё сдвинулось, наконец, с мёртвой точки. Я всё время чего-то жду. Бертран смотрит на меня с каким-то беспокойством.

— Куда ты собираешься?

— ...

— Это тоже твоя ошибка. Если бы ты мог принимать жизнь проще.

— Жизнь проще — это г..., извини меня, для тех, у кого нос заткнут. Она невыносима, эта ваша жизнь проще.

Бертран остановил на мне свой разгневанный, но с оттенком нежности взгляд.

— Ты никого не любишь, Иов, в этом твоя беда.

— Любить?.. Ах, Бертран, всё так противоречиво! Любить. Нет ничего другого, что можно было бы так желать. Такой любви, которая не отличалась бы от ненависти.

Как все эти люди далеки от меня! Миньяр со своим упрямым лбом. Жюльен, любитель эротических фотографий. Росс, замурованный в свою тайну, как морской моллюск. Сестра Катерина, которая молча меняет тарелки, с ярким симпатичным огоньком во взгляде. Я бы с ней охотно поговорил... но о чём? Каждый из нас остаётся на своём берегу: она — на континенте, я — на острове.

— Ты не простой человек.

---

<sup>1</sup> Коммуна на территории Французской Гвианы.

— Простой?.. А что это значит? Согласиться на контракт, который Миньяр готов повесить мне на шею? Жениться на симпатичной девушке и нарожать с ней кучу детей? Да, я не простой. Любовь, истинная любовь, та, что захлёстывает всё, если не она, то, скажи мне, что такое любовь?.. Корыстные встречи, тела, отыскивающие друг друга, эгоизм на двоих, усталость от одиночества, страх — а вокруг люди, которые ещё не родились. Любить?.. Кажется, я переполнен невыносимой любовью.

Избавиться от одиночества, да, но сверху, а не снизу.

— Ты слишком многого хочешь.

— Нет, я ничего не хочу. Это идёт изнутри... а что потом, не знаю. Всё закрыто, Бертран, всё полно противоречий. Я люблю и не люблю, я с вами и не могу с вами жить, я верен этой земле и я на ней — изгнанник. Ах! Я ничего не понимаю. Как будто моя боль всюду, во всех людях... Бертран, я верю, что когда-нибудь всё упорядочится, а сейчас — всё ненависть и хаос, жизнь невыносима.

— Ещё бы, ведь ты всё отрицаешь!

— Я не отрицаю, я просто голоден, у меня невероятный голод, как будто я двадцать лет ничего не ел и у меня начались судороги.

Ты думаешь, это нормально — ничего не чувствовать дальше своего носа, ничего не видеть дальше ста метров, ничего не слышать, кроме языка лавочников? нормально — осознавать мир вокруг себя на расстоянии в полметра? Необходимо сознание, понимаешь, сознание, а не ум!

Бертран ёрзает на стуле, а я не могу остановиться.

— Кажется, ты начинаешь меня раздражать — ты говоришь так, словно наша жизнь гроша ломаного не стоит. Кончится тем, что я скажу, как Миньяр: нет ли у тебя, случайно, мании величия?

— Ни в коем разе!.. Я вовсе не критикую твою жизнь. Каждый живёт, как может. Но вы все, с вашим видением мира, создаёте жизнь на уровне живота. Что вы способны предложить для жизни — можешь ты мне ответить? — ничтожные контракты, ни-

чтожные отпуска, ничтожные женитьбы! Чуть-чуть культуры, чтобы разогнать скуку, да всеобщую набожность. Мелкое сознание, мелкая мораль! Конечно, всё мало в пределах своего дома. Но от вас идёт вонь, ибо вы лишены запаха! Вы опустошены своим будущим, с десятилетнего возраста вы обуреваемы манией обустроить свою жизнь. Так вот, я не желаю вашей жизни! Я не животное, чтобы видеть в семье цель жизни.

Мне нужна единственная, но бесценная вещь, — вот чего я хочу. Единственная!

— Ты невыносим.

Бертран снова уткнулся в свою тарелку. Я оскорбил его. Я только и умею, что наносить раны, всё во мне — сплошная рана. Но что же, в таком случае, я здесь делаю? Они жаждут вина и песен. А Росс молчалив, как монастырь.

Он — из леса, как Венсан был из воздуха, а я — из моря. Но я потерял своё море... Мы все под сомнением, я среди них чужой. Откуда всё-таки я?

Вокруг этого стола мы — обломки огромного кораблекрушения, разбросанные на многие мили, но мы не признаём бедствия и кричим, словно глухие, каждый себе, и никто никого не слышит, только собственный крик. Сплошной мрак и крик.

Переживал ли я когда-нибудь моменты истинного света и солнца, вызывавшие во мне радостный смех?.. Кажется, да, возможно, в той маленькой обтянутой брезентом лодке, которую я назвал "Багбера", когда я верил, что всё открыто, полно приключений, необъятно, напоминает путешествие, которое я ежедневно рисовал в своём воображении... Конец приключениям — мир замкнут и холоден, как кандалы; границы, кодексы, законы, люди — сама угроза, кругом чужие, кругом ловушки, ловушки для человека. Ах! "Пилигрим"! "Пилигрим"... Здесь, вокруг этого стола, мы удалены друг от друга больше, чем в сибирской тундре.

— Знаешь, старик, я подыскал себе домик в Нормандии...

И вдруг я УВИДЕЛ тот день, когда меня везли в тюремной машине на допрос. Я полностью вошёл в него. Вот он, перед моими глазами, неопровержимый, как неподвижное тело убитого.

Меня сажают в последний отсек, как раз над задним колесом, и запирают на ключ. Я, как животное в клетке, невероятно далёкий от того, что только что мучило меня, — и смотрю. Раньше, когда я был снаружи, меня очаровывал этот зелёный фургон, в котором за решёткой ничего не было видно, кроме белых рук утопленников. Теперь я знаю... я вцепился в решётку и вижу странные вещи, воистину странные, как если бы я утратил человеческую память. Площадь Данфёр, Монпарнас, бульвар Распай, ведущий к Сене, улица Соссэ...

Люди толпятся на тротуаре: куда идут эти люди с продовольственными сумками, как если бы ничего не случилось? Бистро, рекламы, студенты с книгами под мышкой — с книгами? И моя семья в двух шагах отсюда — семья? Но у меня нет семьи, я мёртв. У меня нет ничего, кроме глаз, я ничему больше не верю. Я — ничтожный ноль, лопнувшая маска. Неужели они ничего не видят?.. Они полагают, что всё идет само собой. Разве они, те, что снаружи, не видят, что ничто не получается само собой, что всё в мире есть чудо — невероятное чудо! Разве они, те, что снаружи, не видят, что бессмысленно бежать по тротуару, бессмысленно иметь книги, мать, отца, корзину с овощами? Нет, они ничего не видят, ничего. Они бегут не останавливаясь и не знают, что они делают.

— ...поднимаешь ногу как раз вовремя, видно, инстинкт... Деревья, которые падают, опаснее, чем змеи... Надень тенниски или кеды. В сапогах ноги преют.

Я совсем одинок за этим столом, за своей решёткой. Они продолжают, как будто ничего не произошло, как если бы не было никакого кораблекрушения. Но я-то всё знаю. Я в другом путешествии, я никогда к ним не вернусь, я отделён от них куда надёжнее, чем преступлением, нас разделяют бесконечные мили. Лазарь!.. я не способен даже сказать, что я видел, жалкий Лазарь! Я утратил своё имя, утратил память; во мне осталось

только что-то непостоянное, с привкусом бедствия. Всё изменилось, всё невероятно изменилось!

Росс тоже один. В каком несчастье он замкнулся?

— Это несложно, в начале отпуска платишь за машину триста тысяч...

Бронзовый Христос рядом с медицинским календарём прочно прилажен к своему кресту — его будут чистить до блеска до тех пор, пока существует больница Сен-Поль. А эти люди, если им дать тысячу лет жизни, добьются ещё большей экономии и сделают ещё больше детей. На пенсию они будут выходить к девяностам годам. Да, мы заслужили того, что мы смертны.

Прево поймал муравья. Он отрывает ему лапки — другие муравьи тут же набрасываются на него. Съедят? Росс ковыряет спичкой в зубах... Но где же я сам, чёрт возьми? Всё фальшиво, всё так фальшиво, что хоть криком кричи. Поговорить бы с живым человеком!

— ...главное — вовремя её перепродать.

Я сижу с жуткой дырой в памяти, как актёр на сцене, я не знаю своей роли, забыл свои жесты. Всё гротескно, поддельно, фальшиво. Ничего в этом не понимаю. Здесь только моё тело и одежда, которую мне одолжили. Что же шевелится во мне, в глубине этой мучительной раны, какая память, о чём?.. Словно зов с другого берега, словно тайна, застывшая на губах... заговорить, заговорить, найти ниточку. Одно слово, чтобы всё спасти!

— Росс!

Он вытаскивает зубочистку и сплевывает кусочек курятины.

— Что?

Я совершенно не знаю, что хотел сказать. Он щурит глаза, чтобы лучше рассмотреть меня, а глаза его такие же голубые, как вереск в Бель-Иле.

— Росс... возле Гебвиллёра, ты знаешь? В Эльзасе, маленькое озеро...

Мой голос звучит фальшиво, я нервничаю. Больше не могу говорить.

— ...С чёрными елями... Шиссротрид?..

— Не знаю.

Внезапно на его лице появляется страдальческая гримаса. Он замирает с зубочисткой в пальцах, вперив взгляд в скатерть.

— Знаешь, там...

Он насторожился. Решил, вероятно, что сейчас начну его расспрашивать.

— Ты не можешь понять. Это очень трудно...

Росс снова берётся за зубочистку. А Миньяр безостановочно разглагольствует. Прево — чопорный и торжественный, как будто проглотил геологический молоток... Мы разделены, отрезаны тело от тела, мы лишены возможности проникнуть друг в друга, не считая низменного секса и орудий убийства. Воистину, мы одиноки.

— ... роешь на три метра, потом берёшь образцы через полметра, по горсти с каждого уровня из четырёх углов... и рассчитываешь тоннаж — это несложно...

Должно быть, мы родились какими-то искажёнными. Не может быть, чтобы мы родились именно для этого. Не может быть, чтобы мы родились для того, чтобы, как китайские кули, в поте лица добывать хлеб насущный. Не может быть, чтобы мы родились для того, чтобы существовать замурованными, запломбированными, заживо похороненными. Не может быть, не может быть... Истина где-то в другом месте. Моё тело не остановится на этом, не останется в коже, которая трещит по швам. Моя мысль не остановится на этих ничтожных пузырях, на мутном бульканье. Смысл моей жизни — не эта базарная суета, это невозможно... я не лунатик, я не хочу быть живым мертвецом. Центр не здесь. Я хочу смотреть широко открытыми глазами! хочу прикасаться руками! хочу войти в солнце, хочу дышать свежим воздухом. Мне это было однажды обещано... Да, я откуда-то с другой стороны. Кто мне скажет, откуда я! Кто?



— Помнишь Люсьен, секретаршу в Трезоре, ту, что пела как-то вечером у Роже и была в изрядном подпитии... Так вот, можешь мне поверить, эта Люсьен — любовница Миньяра...

Я сижу в самом конце стола, весь сжавшись, как кулак, как свёрнутый парус, как бедствие без последствий. Я хотел бы пожать руки, услышать голоса, сказать что-нибудь, просить, умолять. Выкрикнуть одно слово, которое разрушило бы все стены, как в Иерихоне. Услышьте меня! Я обладаю потрясающим секретом, но он не хочет раскрываться. Я знаю и не знаю. Иногда я почти вспоминаю, и он колеблется, дрожит, вот-вот раскроется, и я буду рожден ещё раз — всё трещит внутри меня: он поднимается и с невероятной силой сжимает меня, так что становится страшно. И снова всё опускается на дно. Секрет закрывается, словно тяжёлая бронзовая дверь. Я никогда к нему не прикоснусь.

Жюльен, Росс, Миньяр, Бертран и все остальные — я вижу нас всех, наши крохотные, жалкие, стиснутые тела... Каждый из нас обглаживает какую-то добычу, каждый — пленник своего ничтожного мирка. Надо всё разрушить, всё переделать... Этого душного, невыносимого мира не избежать. Но если мы лишь придавленные тяжкой ношей кули, парии друг для друга, тогда разрушить всю эту жизнь совершенно не жалко. Я задыхаюсь!

— Иов!

Слома голову, я бросился вниз по лестнице, как если бы за мной гнались гестаповцы. Навстречу сестра Марта, ходит взад-вперёд со своими чётками.

— Куда вы бежите?

— К чёрту!

Ночь тёплая, словно парник, с запахом перегноя. Как обычно, я бреду наугад. Всегда были эти удушья, навязчивые хождения по ночам, хождения до изнеможения, всегда одни и те же, от моста Дезар, где блестят оранжевые огни, до смутных кишений в Индии, через пустынные площади Кайра, вымершие улочки Кабула, от одного квартала к другому, бесконечное маниакальное хождение, чтобы ослабить удушье.

Я постоянно жду брата, который вынырнет из темноты и скажет: "Пойдём, я знаю место". Я хочу быть свободным, свободным для своего волшебного брата, хочу следовать за ним — а вдруг он скоро придёт? Я пойду за ним с верой угольщика, не оглядываясь, до морского дна, если он этого захочет, за тысячу миль...

Эти типы из больницы не спешат присоединиться: зарплата для них важнее удовольствия. А Росс отступил, теперь он верит только в свои деревья... Братья нищеты, у вас есть свои радости — я наперёд знаю вашу шестидесятилетнюю жизнь.

Мой брат совсем другой. У него честные глаза, доподлинное знание жизни; у него власть, у него любовь. Я вспоминаю обо всём этом, словно в прежней жизни всё это уже было, словно я уже знал своего брата, его власть, его любовь, словно я уже жил другой жизнью... жизнью лёгкой и чудесной.

Две руки раскрылись, радостные

Я ушёл  
Лучом света!

Я почти вспоминаю — это приводит меня в отчаянье. Кругом сплошная темень и беспорядок, шум, гам.

Я иду.

Нехватка чего-то втягивает меня внутрь, как в дыру. Чёрная пустота нарастает, и вот я уже — сгусток страдания, как в Индии, когда курил опиум. Всё моё тело — истощённая впадина, которая кричит всё равно что, только бы это кончилось. Шагай, человек, шагай и обмани врага — врага? — убей его усталостью или изведи себя, несчастный лишний человек.

Освобождение? и всё-таки однажды... я шагал недели, месяцы по побережьям Франции, где фотографировал немецкие батареи, шагал к своему чёрному дню. Бульвар Пастёра в Бордо, я собираюсь сесть в трамвай. Жутко скрипят тормоза. Три человека с револьверами. Моя шляпа летит в лужу. Ошеломлённые лица людей на площадке трамвая. "Криминальная полиция" — чёрные буквы на ветровом стекле машины. Я в машине. Расстрел... — какое облегчение! Ни страха, ни испуга, ни вопроса. "Накопец-то". По-тря-са-ю-ще-е облегчение.

В эту рождественскую ночь небо самозабвенно. Ветер гонит огромные облака, иногда в чёрном потоке сверкает шар луны.

Если бы в эту ночь у меня был брат!

У нынешней рождественской ночи такой же неприятный запах, как у прачечной. Яркие неоновые огни брызжут со стен кинотеатра. У людей, создавших хвост, явно отсутствует голова. Ни одного живого человека. Ни одного!

И всё-таки однажды я понял, что встретил братьев... До конца своих дней я буду видеть этот туннель — где-то возле Дуная — и вдыхать запах сырого подвала и пороха, он преследует меня повсюду, как голодный пёс... Люди метались там в узких проходах и долбили, копали, кидали в ярком свете газовых фонарей, под грохот пневматического молота; люди с землистым цветом

лица, одетые в грубую полосатую ткань, а рядом с ними другие, затянутые в кожаные футляры, с лающими голосами. Истошённые тени со взглядами зрячих, которые ничего не видели и упорно отвоёвывали себе жизнь, тачка за тачкой, один кубический метр земли за другим. Всё происходило в какие-то другие времена, под непрочной коркой цивилизаций, в четвертичный период Запада.

В определённый час тени стекались к центру, к главной крипте, в послушном ожидании своей миски. Они ждали. Скоро выяснилось, что ничего не будет; по слухам, грузовик опрокинулся в снег.

Они ждали. Один уселся на тачку, другой — на пустой ящик, кто-то на черенок лопаты или кирки, остальные ждали стоя, потому что земля была сырая. Их лица были похожи, безымянны — настолько всех уравнивал голод, холод и ожидание. Ожиданием нужно было убить время.

Они стояли плечом к плечу в земной тишине, неподвижные и ушедшие в себя, словно охраняя зыбкое пламя в своих сердцах, в самих себе — люди западных катакомб. В их лицах — застывшая медитация, каждую минуту всё более напоминающая изначальную тишину, каждую секунду всё более отрешённая и лёгкая, как снег, что проникает внутрь и доходит до последней границы, до последнего оплота, удерживающаяся на последней нитке разорванного времени, на устойчивом ритме просачивающейся воды, капля за каплей стекающей на рыхлую землю.

Наконец наступило невозможное мгновенье, невыносимая секунда в сердце этого гибнущего корабля, как будто все канаты натянулись до предела, как будто ночной экипаж выбросило на последний гребень — и они запели.

Один голос по-испански, несколько голосов по-русски, почешски, по-французски:

*Вставай, проклятьем заклеймённый...*

О-о, мы все стояли проклятые, дрожащие, со сдавленными глотками и сжатыми кулаками. Братья насмерть.

*Это есть наш последний и решительный бой,  
С Интернационалом воспрянет род людской!*

Нужен был общий язык, чтобы спастись от кораблекрушения, и мы нашли его, чтобы сказать: мы — братья, мы свободны и живы, несмотря на то, что мир убивает нас. Этот язык мне не был знаком, но я пел, как мог, насколько хватало дыхания. Я выливал святую ярость, dies irae поруганного человека, последнее НЕТ перед ошеломлёнными эсэсовцами — я рычал, как одержимый:

*Кто был никем, тот станет всем!*

На рассвете следующего дня на месте переключки повесили четверых.

Ночью от терпкого запаха лантаны першило в горле. Трухлявый экватор весь пропитан гнилью. Четверо повешенных... четверо повешенных. Я повторяю эти слова, как заклинание, и они довлеют надо мной, словно проклятие над первобытными людьми.

Шагай, человек, шагай и победи врага!

На улице только бродячие собаки — целая армия беспородных рыжих дворняжек, которые эхом разносят мою ярость, мою молитву, мою неотступную боль. Я их взбудоражил. Они злобно и враждебно лают в темноте одна за другой. Я — не бродячая собака, согласен, но я — бродячий человек, и мы должны, казалось бы, поладить с вами, скандальные псы!

Я подумал было, что мы уже покончили с дурным сном нашей истории... нет, ещё не покончили. Мы продолжаем спать, мы ещё там.

Шагай, мой брат, шагай! Когда видишь обратную сторону, то знаешь, что мы ещё там. Невидимый концентрационный лагерь царит повсюду; лагерь настолько утончённый, что СС на его фоне блекнет, и, честное слово, отлично продуманный: жертвы сами уничтожают друг друга, шомпола уступают место печатным формулярам, а подозревают здесь всех тех, кто в рамки лагеря не укладывается! Примитивные капо очень изменились;

теперь это Ваалы-предприниматели, Ваалы-синдикаты — всюду господствует умная машина для пожирания человека, всюду часы, чтобы застукать нас, чтобы напомнить нам, что время — это деньги, а жизнь — бизнес.

Невидимые наблюдательные вышки возвышаются над каждым кварталом, территория огорожена колючей проволокой. Нам не открывают больше рта, чтобы взглянуть, нет ли там золотых зубов, которые можно изъять, нас осматривают со всех сторон, целиком, проверяют и карманы, и постель, а при удобном случае какой-нибудь Миньяр лишит нас жизни.

Живодёры, затянутые в кожаные фуляры, ушли в отставку. Настало время безликих людей; они вооружают или разоружают нас по воле своего патриотического разбоя, чтобы удержать власть того, кто ест.

Но я скажу вам, что скоро тот, кто ест, тоже будет съеден. Эта новость наверняка вас удивит. Я видел великаншу, госпожу Ложь с изрытым оспой лицом, которая считает ваши перемирия. Я знаю — мы разоряем друг друга к радости невидимых и могучих идолов; белая галера в пути! Я верю только в отступников.

Шагай, человек, тебе ничего не остаётся, как крысой покинуть тонущий корабль!

Или пусть заговорит ангел!

Но, может быть, придут ещё раз с Востока волхвы с миррой, ладаном и новой мудростью, чтобы восславить на руинах наших знаний новое Рождество?

И вдруг — море. Невидимое, оно меня притягивает. Мигающий проблеск маяка с островов Спасения подметает своим тонким лучом асфальт спокойной воды. Ночь тихо входит в меня струящимся запахом трав и водорослей.

Рыжие собаки умолкли. Тысячи насекомых, одно за другим, возобновили свой стрекот, за кокосовыми рощами бесчисленные лягушки и жабы запели на низкой ноте.

Куда же ты идёшь, Иов Леглоэк? — да, это правда, завтра ты уезжаешь. Ты всё время куда-то уезжаешь, словно это может что-то изменить. Разве ты не видишь, что и Кайенна, и Монпарнас, и Бомбей — всё это одно и то же? Ночь, ночное блуждание.

Так оставь же распятых на их кресте; радость — это куда более дерзко. Обрети радость, пусть это будет твоим вкладом в освобождение мира; страдания только усиливают его плен... Ты ворошишь прошлое, но старые призраки не принесут тебе новой истины, ты — перед ней, ты в стадии рождения. И чувствуешь себя виноватым. Твоя ошибка в том, что ты не был самим собой. Тебя душит чувство загнанности, отсутствие самого себя, так расстанься же со своим страждущим человеком, стань другим, стань таким, каков ты есть.

Ты ищешь брата. Но ты прекрасно знаешь, что люди испытывают чувство братства только в смерти или в муках. Снаружи брата нет, твой брат внутри. И все эти полицейские инспектора, ко-

торые тебя удручают, ничто по сравнению с истерзанным миром внутри тебя.

Всё внутри.

И тем не менее, у меня был брат в радости. Но он уже не встанет, он сложил своё оружие. Я вырыл ему яму возле дерева с розовым стволом. Над чащей пролетела стая агами. Потом всё смолкло.

— А у нас всё-таки есть "Пилигрим"! Это будет голубого цвета яхта с белоснежными парусами... большая голубая яхта — и порядок!

Всю ночь он говорил об этой яхте — голубой, ты слышишь — как если бы видел её наяву. В лагере горел костёр. Я натянул ему гамак возле самой реки, между двумя патавами.

— Двадцать грамм с кубического метра, ты представляешь!.. Допустим, нужно будет тысяча кубических метров, две тысячи... у нас есть все бортовые инструменты, съестные припасы на два года. И мы на воле... откуда мы отчалим?

Я раскурил средство от комаров и сел на мешок. В темноте трещали цикады.

— Ты веришь во всё это?

Что-то изменилось в его голосе. Раньше, когда мы были где-то между Фольклэндами и Туамóту, мы постоянно спорили. В этот вечер он выглядел уставшим, словно очень много ходил.

— Кажется, я отдам концы.

Венсан повернул голову, чтобы лучше видеть меня. Он весь распух, его лицо напоминало личико румяного ребёнка, позолоченное отблеском пламени, с едва заметной бородкой. Глаза горели.

— Если, если... а я ничего не успел сделать.

Он мгновенно перевернулся, как будто прятался. Передо мной его большое тело, обтянутое тканью гамака — лодка с трупом.

— Иов, ты знаешь, моя мать... Она бросила меня, гадина!



Он сказал это с неожиданной силой. Впервые он заговорил о мире, оставленном за морями.

— Я женюсь на жизнерадостной девушке, она будет очень милая, она всё поймет.

Той ночью всё было понятно, теперь всё в прошлом.

— В нашем дворе рос тополь...

Светлячки мигали между пальцами. Его гамак покачивался среди веток, как будто его приподнимало пламя и уносил вверх пронзительный стрекот насекомых.

— По воскресеньям мы ходили в лес за сморчками и играли там в прятки... Как это глупо все, Иов, ничего не осталось.

Осталась только ночь на изнанке мира, наполненная запахами, и горсточка золотых крупинок в ладони.

— В дортуаре<sup>1</sup> было прохладно...

Венсан натянул покрывало, словно ему холодно до сих пор.

— Я оставил у сестёр пару совсем новых башмаков. И потом...

Он делает странный, едва уловимый жест и сжимает руками гамак. Ищет меня глазами. Ему трудно смотреть.

— Не расстраивайся, Иов... Наш "Пилигрим" прекрасен!

Он перевёл взгляд на ветви. Его руки крепко вцепились в гамак, словно в борт корабля. Как прекрасна, Венсан, наша яхта в лесу, охваченная пламенем, — наша яхта, на которой мы отправимся в будущее. Мы вернёмся, уверяю тебя, когда солнце возобновит свой путь на север; мы привезём с собой амброзию и смех для наших неверующих братьев.

— Всё так нескоро!

— Очень скоро, Венсан. Совсем рядом.

— Мне плохо.

---

<sup>1</sup> Дортуар – общая спальня для учащихся в закрытых учебных заведениях.

Я хотел напоить его из котелка, но вода лилась мимо. Я взял его за руку. Рука была вялая и горячая.

— Мы вместе, Иов, вместе...

Я сжал его руку. Я хотел любить его вечно, но было всего две руки и одно дрогнувшее сердце.

— Мы поплывём на острова...

Лес снимался с якоря, треща цикадами.

— Я женюсь... У меня будет спокойная жизнь. Очень далеко...

Для свадебного пира раскрылись уже бархатные воды.

— Но почему, Иов, почему?..

Очень высоко в темноте прогудел самолёт: каждый вечер в один и тот же час над нашими головами пролетал рейсовый пассажирский Рио-де-Жанейро — Нью-Йорк со своим грузом света. Но в этот вечер Венсан его не услышал.

— Как хороша она, наша яхта!.. Ты ничего не забыл, Иов?.. Всё есть? А двигатель?.. Он не работает.

Венсан потёр себе шею. Гланды выпирали. Потом начал хрипеть и надолго замолчал, скрючившись в гамаке. Я намочил в воде свою сорочку и выжал ему на лицо несколько капель. Пяденицы обгорали в пламени. На другом берегу речки упало гнилое дерево. Шум от его падения, как раскат грома, долго звучал в ночи.

— Готово, готов, поверь мне, всё готово... парашют...

Венсан изо всех сил сжал мою ладонь. Его дыхание стало спокойнее, словно внезапно наступило облегчение. По нашему тряпью проползла змея. Красные и зелёные скарабеи начали свою сарабанду. Венсан уснул. Я присел возле костра, потому что очень устал. Снова развёл огонь. Муравьи штурмом брали мешок с треской, целая колонна, но мне было на них наплевать. Я должен был выспаться.

Когда я проснулся, уже светало. Венсан был мёртв.

Я долго сидел неподвижно, бессмысленно глядя на его руку, сжимавшую гамак, на кувалды, лопаты, лом. Гамак чуть раскачивался, но это был ветер. Игуаны с жёлтыми полосками гонялись друг за другом в сухой листве.

Я поднялся и принялся рыть у ствола розового дерева. Хотелось, чтобы яма была глубокая. Везде были корни. Руки горели. Стащил его в яму вместе с гамаком. Он был очень тяжёлый. Засыпал землёй. Над чашей, шурша серыми крыльями, пролетела стая агами. Потом всё смолкло.

Я долго стоял в оцепенении и смотрел в пустоту. Наконец малопомалу пришёл в себя. Выкупался в речке, и всё время перед глазами стояла Базальтовая бухта, где мы плавали голые, папоротники, наш бег к хижине...

Я собрал сумку: немного куака, патроны, старый компас... многое мы растеряли по дороге. Муравьи сожрали за ночь всю треску.

Мешок Венсана: какие-то тряпки, два крылышка авиатора, пришитые на кусочке сукна. "Мы промахнулись при посадке — слишком большая скорость..." Военный билет. Паспорт.

<i>Фамилия</i>	: Венсан Пьер-Виктор.
<i>Дата рождения</i>	: 2 декабря 19... г.
<i>Место рождения</i>	: Синьи-ле-Пти́ (Ардэнны).
<i>Профессия</i>	: не имеет.

Моё сердце начало вдруг бешено колотиться, когда я увидел это, покоробленное под штемпелем. Я разжёл костёр и бросил туда всё: сумку, паспорт, военный билет, тряпки — и стал искать, нет ли чего-нибудь ещё. Мне хотелось всё бросить в огонь и прыгнуть вслед самому. Пусть ничего не останется, ничего от тайны братьев насмерть! Или отправиться, напевая, в глубь леса.

Я двинулся курсом 260° на запад, к реке. Венсан всё время был со мной. Потом встретил зеленую стену — балату, рухнувшую этой ночью. На её ветвях висели лианы; три вырванных с корнем дерева запутались в них, раздирая своим разгромом голубое

полотнище неба. Стояла невероятная тишина. Ни птиц, ни обезьян. Я был один в этой огромной зеленой конвульсии. Единственный, крошечный... Казалось, я слышал голос Венсана: "Так оно и есть, Иов, уверяю тебя, это крышка..."

Я вошёл в зелёную стену и принялся рубить её мачете. Я рубил и рубил, не чувствуя в зелёной гнили своего тела, будто кромсал кучу старых сопротивляющихся вещей, вырубал в своём горле желание расплакаться и мёртвые годы позади, это скопище гнусных и ничтожных карликов. Я бы всё вырубил — жизнь, смерть, Святого Духа — всё! Мне наплевать было на всё, как Богу. Страдание исчезло. В моём теле не было боли, не было скорби. Впрочем, и сердца никакого не было. Была пылающая дыра, которая втягивала меня в себя. Смерть Венсана? Кто страдает? Кто "я"? А рука рубила и рубила, как будто брала на бордаж всех дьяволов сразу — смелей, человек! Щёлкая клювами, выпорхнули попугаи. Изорванная в клочки одежда едва держалась. Обезумевшая маленькая обезьянка кубарем скатилась с лианы. Я настолько обессилел, что всё шло само собой.

И вдруг что-то прорвалось — свет! Он падал сверху. Золотое излучение. Световые волны струились перед глазами, поток орифламмы уходил к солнцу, начинаясь здесь, возле меня, там, откуда только что выпорхнули попугаи. Всё вибрировало, всё дрожало. То распространялось, как оседающий световой пар, то собиралось вместе, как расплавленный шар, и снова, снова — солнце пульсировало.

Свет входил в меня и вмещал меня, как море. Он был таким горячим, что грудь моя пылала. Я был зияющей полостью, в которую вливался источник силы, до отказа наполненной пустотой.

Я чувствовал своё тело, — а свет двигался к стволу дерева, дальше, передо мной, — но был весь как бы разлитый, больше обычного, словно вошёл в другое тело, которое окружало меня, как бы парило и волшебным образом прикасалось ко всему. Нет, не прикасалось, но было вместе со всем, во всё проникало и трепетало их трепетом. Я был необъятным. Лёгким, как чайка, готовый безвозвратно растаять в золотом пространстве. Ах! Кто умирает? Кто страдает? — вокруг меня был свет, вокруг была

любовь, огромная золотистая любовь, в которую невозможно поверить. Да и кто поверил бы? Как?

Откуда эта любовь, когда рядом нет никого, кроме ветра в листьях, кроме меня в этом трепещущем воздухе? Но она здесь, в лианах, под листьями; она здесь, невыразимая, интенсивная, воздух насыщен ей до предела, как сила и ветер, как жара, как дыхание, без которого всё превратилось бы в прах, как искра жизни — миллионы искр, распахнувшиеся золотые пестики! Меня всего обволокло. Я потерял голову, сердце, я разлетелся золотыми брызгами, как будто для того, чтобы любить, быть любимым, давать, всё отдать — во мне слишком много всего! — чтобы растаять навсегда в тайном слиянии, в этом ликование любви...

И всё было объято. Нет забвения, нет недостатка, нет темноты — нет ничего вне этого света. Всё внутри, как золотые прожилки вещей. Всё переполнено любовью, всё — улыбка, которая согревает. Кто умирает? Кто? — солнце озаряет все вещи в мире; я погружаюсь в бессмертную зарю. Кто "я"? — свет повсюду. Страдание исчерпано, оно обратилось ко мне своим истинным лицом, которое есть вечная радость. Смерть зачёркнута, она раскрылась, как спелый стручок, она вибрирует тысячами жизней. Страдание — ложь. Смерть — ложь. Любовь повсюду, великая, золотая любовь, в которую невозможно поверить, всеобъемлющая любовь с миллионами рук, готовых всё обнять.

Очутившись на другой стороне, я уцепился за ствол вака́пу, росшей на краю обрывистого плато.

Казалось, будто я ещё сплю.

Растрескавшийся латеритовый панцирь внедрялся как попало в огромное болото, испещрённое пурпурными облаками. Насколько хватало глаз, бледно-зелёные арековые пальмы раскачивались на своих крупных стволах, как на воде. До самой тёмной полосы далёкого леса тысячи и тысячи птиц в испуганном восторге кружились стаями, стекались, растекались, терялись из виду в ослепительном небе, внезапно поворачивали к крохотному разорванному облачку, поднимали оглушительный

гомон. Можно было подумать, что это — фантастический вольер для услады безумного короля; затерявшееся изумрудное озеро из индийской легенды.

Венсан меня не покидал. Возможно, он уже был по ту сторону, там, где пылает радость? Мы усадили наши уставшие тела на ствол дерева и вместе мечтали: "Знаешь, Иов, на островах Туамоту..." — но наши острова оторвались от карты мира, разве ты не видишь? Нас относит к изумрудной саванне. Наша сума полна, мы богаты, мы можем расправить крылья. "А секстант? Он дорого стоит?" — но север опрокинулся в вихре крыльев, тысячи огненных птиц уносят нас в потоке орифламмы. Взгляни! Бронзовые двери распахнуты настежь, сверкающие когорты уже ждут нас — радость грядущих времён! Мы — бессмертные короли, разве ты не видишь, наши архипелаги трепещут на ветру?

Мы долго так смотрели, потом я уснул. Проснулся в одиночестве. Птицы всё ещё кружили — самые обычные попугайчики. Тогда я отправился в путь.

И всё это происходит в пределах моего тела!

Бродячие рыжие собаки по очереди рычат в темноте, это действует на нервы. Я ничего не понимаю. То вижу, то не вижу. Свет то исчезает, то снова возникает. Ослепительная истина вызывает благодные слёзы, она гораздо реальнее их тушёной говядины. А через минуту ничего не остаётся, как если бы всё происходило во сне, ничего, кроме темноты и косного, уродливого времени, с его эсэсовцами и обеденными перерывами — сдохнуть от тоски... Недоносок пространства, годный лишь для того, чтобы выращивать цветную капусту.

Послышался рёв осла, астматический, бесконечно долгий, тоскливый. Воздух неподвижный и душный. Кишение насекомых в пальмовых рощах, стон моря, блеск далёкого огня... Крошечные волны жемчужными каплями растекаются по илистому берегу. Я — словно мумия, перевязанная ленточками, в ожидании не

знаю какого воскрешения из мёртвых. Давлю на себя изнутри так, что вот-вот лопну, но не выдерживает только кожа! Всё остальное цело. Кажется, с тех пор, как существую, я только и делаю, что давлю. Но мой саркофаг плотно замурован. Снаружи — раскрашенная гримаса, только не я сам, только не я. Снова и снова я бью изнутри в свой негритянский там-там.

Я надеялся... Нет, лучше молчать. Завязнуть раз и навсегда, как все, делать вид, как все. Найти своё золото, обзавестись семейкой.

Но это только мечты. Я способен на одно: стучать и стучать, как будто саркофаг может когда-нибудь открыться! стучать безостановочно... Ничего не поделаешь, я создан для этого. Все мосты сожжены, впереди один ветер. Ни с той стороны, ни с другой — прямо посередине, в стране, непригодной для обитания.

Неужели никто не услышит?

Саркофаг, замурованный до конца света!

Сквозь стрекот насекомых что-то смутно завибрировало, что-то, напоминающее человеческую музыку. Как будто зашуршал нежный шёлк. Потом исчезло. Но вот возвращается, слабо, как шелест ветра в сосновом бору.

Зачарованный, я встаю и иду туда, откуда доносится мелодия, отыскиваю тончайшую нить, которая заканчивается жемчужным дождём. Я на дороге. Воздух совершенно неподвижный, почти твёрдый. Я весь взмок от пота. Кажется, камерная музыка. Струнный квартет! Я иду, как слепой, с гулко бьющимся сердцем. Ограда из бугенвиллей. Бледный прямоугольник приглушённого света. Теперь я узнаю: научно-исследовательский центр на окраине Кайенны. Квартет Бетховена! Я обретаю музыку, как милосердие, которое вливается в мою грудь... Кайенна, год вкалывать, как негр, жить, сжавшись в кулак, и вдруг — музыка!

Я иду наощупь. Ворота приоткрыты, сад. Мой брат! Я постучусь в дверь, я скажу ему — неважно что, он поймёт, он должен понять.

Проскальзываю вдоль тростника под окно у крыльца. Ночник прикрыт красной шалью, вокруг в беспорядке книги, флаконы с образцами; молодой мужчина в шезлонге. Он смотрит поверх меня. Девятый квартет Бетховена.



Я укрываюсь в тень, чтобы иступлённо погрузиться в эту божественную музыку. Ах! Смыть всю боль! И вот один слой спадает с меня за другим: смерть Венсана, больница, Миньяр, инспектор, вся эта тропическая тюрьма, в которой я маюсь, словно обессилевший дервиш.

Бетховен, будь благословен, ты вселяешь в меня нечто божественное! Замурованный в свою глухую ночь, отрезанный от других, как я в этой чёрной дыре, ты прекрасно знал что мы все не шваль, погруженная по горло в дерьмо. Нам обещана земля Ханаанская, ты это знал, по другую сторону ночи; Бетховен, будь благословен, Бог с тобой, Он есть ты, Он в тебе, а не в священных пещерах, где проповедуют люди в чёрных одеяниях. Я благодарю тебя, я, скрывающийся в тени этого дерева, измученный, жалкий, как насекомое, беспомощный. Восхваляю тебя, ты даришь мне освобождение...

Я тебя почти забыл, я плохо тебя слышал — и всё из-за своей слишком толстой варварской кожи. Сегодня я живу в тебе. В тебе звучит сумасшедшее пение, утраченные радости, ты одинок, ты потерял всех братьев... В иступлённом крике на острие смычка и страданий ты знал... Всё сообщается. Твой крик об этом — в последнем оголяющем рывке.

И твои басы, твои заполненные паузы — невыносимый крик, пробивающийся по ту сторону, словно колотящий в стену кулак. Кажется, я везде слышу её, эту тишину, она всегда рядом, я выслеживаю её, преследую, чтобы сделать там привал, но, может быть, это не я, а она меня выслеживает? Ах! вся жизнь для того, чтобы сорвать этот странный цветок! Внутреннее море вещей, первозданная тишина, ты грызёшь меня изнутри! Ты вздымаешь волшебные приливы, ты, фонтан жизни, подобна смерти.

Музыка обнимает тебя, устремляется к тебе и дарит самую чистую любовь. Храмы, чтобы заключить её слова, чтобы утверждать её и отрицать её, смычок, чтобы вырвать её, хождение в тишине. Хождение до изнеможения, до падения без чувств на землю, а жизнь не останавливается. Молчание любовников, когда объятия размыкаются, — это ведь измена! В наших храмах звонят колокола, в наших телах слишком много кровеносных

сосудов, но всё это возле музыки и никогда полностью, никогда не она сама. Нежное крыло не может прикоснуться к колючей ограде.

Как смешны эти взмахи смычка и пёстрые трюки, как нелепы чернильные знаки, которые стремятся одним махом охватить необъятность и создать из ничто снежную тишину, но этого ничто оказывается слишком много! Бетховен стал глухим, чтобы лучше слышать, Ван Гог искалечил себя, доведённый до предела геометрией и кадмием — только бы разорвать тишину, которую он не в силах был ухватить. Мы не вправе сказать, что один отсутствовал больше, чем другой.

А эта ненастоящая кокосовая пальма, которая склоняется над окном с несколькими звёздами, должно быть, канделябр, бенгальский огонь — откуда мне знать? Она вся увешана бумажными фонариками, они сталкиваются друг с другом, покачиваясь в воздухе. Нет, нет, это НЕ ТО, или я невнимательно смотрю?

Этот мир не полный! Вещи пустые, в них чего-то не хватает, в них зияет отсутствие. И не на острие наших воплей, не на высоте того, что я чувствую, — а когда я пристально гляжу на себя, даже не на высоте детского смеха. Ах! Я понимаю единственный крик, он такой же пронзительный, как крик чайки на скалах, — пронизывающая до боли тишина, такая тишина, которая возникает только после крика.

— Так мы идём или нет?

Женщина!

— Идём, идём...

— В таком случае, одевайся, уже половина.

Я окаменел. Я не подумал, что там могла быть пара.

— Вилли!..

Голос пронзительный. Чума!

Внезапно меня заливают поток света. Я едва успеваю распластаться на клумбе. Дверь открывается.

— Вилли!

Из-за угла выходит полусонный негр.

— Ты всё время спишь! Давай, поторопись. Где синий костюм господина? Он готов? Пошевеливайся!

Женщина идёт прямо на меня. Я в панике. Сейчас она меня увидит. Какой я дурак! Эта мегера сейчас меня увидит. Она стоит рядом со мной. Если она опустит глаза, я пропал. В двадцати метрах отсюда забор.

— Дорогой, этот квартет — такой красивый!

Внутри шум передвигаемых стульев. Теперь весь сад залит светом. Пошла прочь со своим квартетом! Скорее сдохну, чем буду с ней объясняться, да она и не поверит.

— Снова дождь. Ну и страна!

Она потягивается, потирает бёдра. Её взгляд падает на меня. Я сжимаюсь в комок. Она дико визжит, а я прыгаю через забор и, как вор, исчезаю в темноте.

Идёт частый и тёплый дождь. Тропический дождь, он будет лить часами, днями. Он обрушивается на пальмы, на частый бамбук, словно море — на гребень подводной скалы. Я спотыкаюсь, падаю в ямы, петляю, я не понимаю, где нахожусь. Совсем одурел. Мир обрушивается на меня, как приговор. Я бреду в ночи, шатаюсь от усталости. Постепенно всё возвращается в свою колею. В конце концов, терять больше нечего.

Я настолько раздавлен, что не могу понять, как я ещё существую. Я — совершенный мертвец. Раздавленная пустота... Итак, решено, больше я не дёргаюсь. Вода по колено, и такой ветер, конец света! Растворюсь, как ком земли, в этом негритянском хаосе! я — лишайник, кальмар, ободранная кора в потоке времени. Ноль. Никуда больше не пойду! Я — пень, шорох жабы, чёрная пустота, ничто. Ничто.

Что надо ещё, чтобы удержать себя? сердце... оно сопротивляется. Именно оно и мешает. И разум, который не перестаёт задавать вопросы. Так что же мне не ясно? трудно сказать — какой-то очень важный вопрос на невнятном языке, тяжёлый, как лезвие гильотины. Возможно, я и впрямь не здесь. Ошибся жизнью! Не у себя, это уж точно... Молчать! Вопрос входит в меня, как поезд, сошедший с рельсов.

Давай, Иов, вставай! Эта минута невыносима. Она не существует, не существует. Ты спятил. Шагай и убей врага! Шагай, ты устанешь, это скоро придёт. Нужно жить, чтобы перейти на дру-

гую сторону, иначе придётся отложить всё ещё на несколько жизней. Шагай, брат! Не стой на месте, как пень. Впрочем, возможно, это ошибка. Жизнь наладится. Ты вернёшься к себе, повсюду будет свет, тебе выдадут белые одежды, будет праздник до слёз от радости.

Так давай же, вперёд, ты смотришь на себя так, что твоё смятение не может долго продолжаться. Ты будешь хохотать над собой, ты разделишь себя пополам, и другой, твой ложный брат, останется на земле! Так шагай же, глупец! Только правильно выбирай; красные обезьяны — это не шутка. Ты здесь в театре. А истина — в другом месте.

В конце концов, сам Иов не имеет ровно никакого значения.

Иов шагает. Он снова взвалил свою суму. Он погружается в безумие запахов с множеством жаб и мертвечины. Скоро он будет чист, он освободится от всякой фальши.

А дождь течёт, течёт по уставшему телу, словно для того, чтобы смыть избыток ночи, которая его сжимает, избыток зла, словно для того, чтобы продолжить дорогу к тому запечатанному сердцу, где мы бьёмся вместе, я это знаю, к царству такого же сердца. Ах! кто разрушит эту могилу! Ночь — порождение разума.

Я слышу, как неподалёку трещит под напором воды бамбук, как стонет и надрывается земля, которая упрямо влачит свою дряхлую подводную часть, как весь корабль дрожит от киля до марса — этот старый корабль, который смутно любит. Неужели я единственный не буду любить?

Я закрываю глаза, чтобы принять волну, стоя на ветру и как будто вырванный из себя, ах! обнажённые руки, как для молитвы, и лицо открытое для любви, чтобы избавиться от излишка пространства, которое меня подавляет. Дождь мне приятен, он бьёт меня длинной плетью своих тёплых рук, увлекает и уносит в своей любви. Мне приятен этот дождь, который меня истощает.

Но вот напор чуть ослаб, хрупкие антенны раскрываются, вероятно, для того, чтобы прощупать тёмный водоем и опознать его.

Этот мир открыт! — а я всё ещё стою на своей скале, замурованный, как в скорлупе. Кто же разорвёт путы, когда всё вокруг вспыхнет, когда всё брызнет, словно фонтан выплеснувшегося нектара! Мир скачет от радости, он поёт и танцует, как Шива, — он любит! Пусть одна из его рук вырвет меня из могилы, пусть всё будет освещено гигантской молнией! Эта ночь вовсе не ночь, я знаю, я чувствую. Мы закрыты и непроницаемы только из-за недостатка любви — об этом мне то и дело кричат мои антенны. Ночь — порождение разума.

Я углубляюсь в высокие дождевые водоросли, как ребёнок, устремив вперёд руки, чтобы раздвинуть ночь, руки, вызывающие к старой памяти — ах! я вспоминаю зелёные ступеньки и глубинное царство, которое открывается под лёгкими пальцами. Я вспоминаю необъятные зыбучие пески морского побережья и радостный полёт птиц в пене света.

Дорога, идущая под уклон, пустая, освещённая тремя жёлтыми фонарями. Дождь прямой, как решётка. Два осла, связанные вместе, на краю склона — они ждут. Сжав кулаки в карманах, как будто для того, чтобы удержаться сам не знаю что, постоянно ускользящее от меня, я снова спускаюсь к людям.

Вода прорывается в низкую улочку с вкрадчивым запахом мокрого тростника и гнилого манго. На гофрированном железе неисцелимый дождь. Я устал, мне хочется присесть.

И вдруг бухта. Бухта, размещённая как попало, у чёрной воды на краю набережной с её золотистыми огоньками, с негритянскими барками, с тысячами окон из соломы и ящиков под железными тамбурами, с тысячами жёлтых теней, — бухта готова отчалить я не знаю к какому мысу Отчаяния под обвалами дождя.

Мостовые сверкают, и на пустынных набережных к швартовым кнехтам не причалил ни один парусник. Но нет, вон две наклонившиеся мачты — опрокинутое бразильское судно в глубине

канала подставило своё смоляное брюхо под золотистые брызги таверн.

Дождь барабанит по моей спине, а я стою, бессмысленно склонившись над ржавым кольцом для якорной стоянки, вделанным в набережную, — такие есть на моём острове — и мне кажется, что я слышу шум внутренней гавани и шарканье сабо, стук колец, когда причаливают рыбачьи лодки, — такой же шум доносится с воды на этом краю света. Я удаляюсь с таким чувством, будто постучался к мертвецу.

Бистро. Сухой стук костяшек домино: за окном благодушно настроенные и молчаливые китайцы сидят вокруг игорного стола. Это не для меня, я не жёлтый. Иду как в мякоти, как во сне. Сломанная изгородь, за которой раздаётся одинокий хохот Фернандэля<sup>1</sup>. Дальше, в конце бухты, должен быть Рожé, но там вся больничная банда, которая празднует Рождество. Не знаю, что с собой делать; бывают минуты, когда я сам себе в тягость. Но я по-прежнему держусь и спрашиваю себя, за счёт чего я держусь? Пробежала огромная, как заяц, крыса. Где же я оставил свои крылья? Кругом, насколько хватает глаз, течёт вода, добивая перезрелые апельсины и соломенные перекрытия.

Неужели в этой ночи мира я не найду своего брата? Брата, который не был бы занят. Неужели этот мир запечатан, каждый в своём углу, пронумерован, прищеплен, пригвождён раз и навсегда? И мы никогда не будем любить — все слишком озабочены любовью к своим жёнам и детям, а то, что не способны любить, они ненавидят. А я, жаждущий любви, стучу во все двери и повсюду наталкиваюсь на крохотные окошечки, выстроившиеся плотными, непробиваемыми рядами, запертые на засовы, словно на почте до востребования. Я позабыл пароль.

Парусное судно завалено на борт — "Святой Людовик", Сальвадор. Я бы поехал туда... Дождь шелестит по впалому боку парусника, рикошетом отскакивает на бухту молочной плёнкой.

---

<sup>1</sup> Фернандэль — французский актёр, один из величайших комиков театра и кино Франции и Италии.

Дальше — деревянный мост и по другую сторону негритянский квартал в тумане дождя. Не пойму, какие воспоминания шевелятся во мне — ну да, то и дело возвращается воспоминание о той последней ночи, о моем умершем брате. Оно преследовало меня всё утро до визита к Шюлеру... я больше не могу, надо сесть.

Вода течёт через разошедшиеся брусья. В промежутках между обвалами дождя слышно, как гнусавит граммофон, в амбразуре притона снуют тени. Вот угол со старыми белыми<sup>1</sup>, шлюхами и неграми — наконец-то я у себя!

Впрочем, мне совершенно безразлично, здесь или там, всё одинаково: более или менее белый, более или менее ненасытный. Вдали сотрясается колокол, его эхо поднимается и опускается, как бы раскачиваемое зыбью, — чужая полуночная месса. Я сдался, как будто тысяча свинцовых существ выплыли из далёкого прошлого, вцепились в мои башмаки и сжимают, сжимают...

Прекрасная голубая яхта, да, Иов, голубая, с белыми парусами...

---

<sup>1</sup> "Старыми белыми" называли бывших заключенных каторжной тюрьмы.



— Джин?

— Нет, водку.

Толстая негритянка приносит стакан, до краёв наполненный желтоватой жидкостью. Кажется, я дрожу, как натянутая верёвка. Я выпиваю водку большими глотками. От жжения внутри я сжимаюсь и сижу неподвижно, чтобы не двигалась холодная мокрая рубашка, прилипшая к телу. На полу вокруг башмаков растекается вода, просачивается между гнилыми досками.

— Держи!

Негритянка протягивает мне махровую салфетку. За соседним столом негры играют в карты. Я снимаю рубашку и растираю себя до красноты. Негритянка стоит, опершись обеими руками о стол, и внимательно разглядывает меня.

— Хочешь женщину?

— Нет.

Едкий запах сигар и скрипучая самба, выползающая из граммофона с раструбом, заполняют барак. Рядом со мной, возле перегородки, тикают ходики с гирями, заключённые в деревянный лакированный футляр.

Мужчина, которого я сразу не заметил, внимательно смотрит на меня из угла. На его шее розовый шёлковый платок. Матерчатая

куртка, которая когда-то была белой, такая же мятая, как и его лицо.

— Хочешь мальчика?

— Нет.

Негритянка пожимает плечами и садится с сознанием выполненного долга. Она восседает в конце зала за неким подобием прилавка, где рядом возвышаются бутылки с тростниковой водкой. Одна зелёная бутылка с мятным ликёром. Над её головой Дева Мария в позолоченной рамке благословляет сборище, которому на неё наплевать. Ещё одна икона — Христа, поменьше. Пустые скамейки, столы, на которых валяются соломенные шляпы картёжников.

У негритянки красивые глаза, как у жвачного животного, она почти молодая, несмотря на чёрный жир, который свисает почти везде. Она, не отрываясь, смотрит на меня.

Мои карты, чёрт возьми! Я вынимаю их из заднего кармана: вымокшие страницы с 15 по 18 старого португальского атласа, подарок бразильского рабочего, когда я работал на слюдяной шахте в Эспэра-Феліс... До сих пор вижу, как он сидит на ящике из-под кока-колы — нашей единственной мебели. Между двумя "зачистками" мы с ним мечтали подняться вверх по Амазонке. И даже написали директору института в Сан-Пауло и предложили свои услуги — ловить змей для сыворотки. Мы получили патент в местной медицинской службе, заплатив за него десять крузэйро. Но эти скоты даже не ответили!.. Когда я уезжал, он подарил мне четыре самых лучших страницы: Туркестан-Китай, Египет, Индия, Бразилия. Я благоговейно промокаю их салфеткой; это мои единственные навигационные пособия в течение четырёх лет — плавание, в некотором смысле, по счислению.

Картёжники молча играют в покер, маленькими глотками отхлёбывая водку. Граммофон тянет последние звуки, потом скрипит игла, пластинка долго крутится вхолостую, наконец кончается. Дождь невозмутимо колотит по бараку, как неистовая батарея.

— Это вы — Иов?

Мужчина в шейном платке стоит передо мной, в руке стакан водки. Я немедленно чувствую шантаж, провокацию.

— Ну и что дальше?

Он садится.

— Кто вам сказал моё имя?

— Здесь всё становится известным.

Его маленькое, невзрачное, как бы восковое лицо склоняется надо мной с явным вызовом — возможно, из-за моего промокшего тряпья.

— Ну и как, нашли золото?

— Я ничего не нашёл.

— Не хитрите! Я хочу вам помочь.

Мужчина достаёт короткую сигару, медленно её раскуривает и выдыхает дым мне в лицо.

— Говорю вам, я ничего не нашёл.

— Допустим... но если что-то нашли, у меня есть друзья в Джорджтауне, среди англичан, и в Белёне... Можно договориться. Вы не понравились полицейскому инспектору, он сообщил о вас в аэропорт.

— Кто вам это сказал?

Мужчина долго смотрит на меня, облизывая губы языком.

— О вас многое известно, господин Иов Леглоэк. Вам вполне можно помочь...

Мужчина отхлёбывает глоток водки и затягивается дымом.

— Или не помочь.

— Что обо мне известно? Что я сделал?

— Ничего, кое-какие мелочи...

Внезапно меня охватывает бешеная ярость.

— А ну, говори!

Я схватил его за ворот и встряхнул... Я готов был раздавить его как клопа. стакан с водкой покатился по столу.

— Эй, ребята!..

Негритянка смотрит на нас, упершись ладонями в бёдра.

— Ты, Лопес, давай отсюда подальше, слышишь?

Мужчина в шейном платке встал. Негритянка спокойно смотрит на него. Он бледен, как полотно.

— Хорошо. А ты, Иов, ничего не потеряешь, если подождёшь. Не забывай, что у тебя нет никого ни здесь... ни там.

Он кивает в сторону бухты, где живут белые.

— У меня отличная память... Да и инспектор мой приятель.

Мужчина выходит, волоча за собой ногу. Негритянка заводит граммофон. Дождь колотит по железной крыше.

У меня возникает вдруг неожиданное чувство, что и этот барак, и я сам находимся в долгом путешествии среди ночи, которая никогда не кончится. У меня нет никого, кроме этого ангела, этой негритянки, которая бережёт меня, как вещицу, место которой ещё не определено, но которую она скоро поставит рядом со своей мадонной и антильскими олеографиями.

Я долго вслушиваюсь в глухое тиканье ходиков, словно время имеет какой-то смысл. Стрелки продолжают двигаться, но что они способны изменить? Если бы я вернулся назад и посмотрел на себя из прошлого столетия, то я так и остался бы, наверное, здесь, с этой махровой салфеткой, перед этим пустым стаканом, под тиканье часов — ровно ничего бы не произошло, и ни одно мгновение не стало бы реальным. Впрочем, никогда ничего и не происходит — есть только движущиеся декорации.

Я задёрнул шторы, чтобы целиком погрузиться в своё абсурдное путешествие на скамейке, и больше не шевелюсь. Скоро я пушу корни. Было бы здорово.

— Держи.

Негритянка протягивает другую салфетку.

— Ну как, согрелся?

Я растрогался, как идиот. Любой человеческий жест потрясает меня. Она покачивает головой, что-то говорит... В ушах сверкают золотые кольца. Её большое тело равномерно перемещается.

Снова возникает воспоминание об умершем брате. Оно раздражает меня с самого утра, словно меня обманули. Кто-то сообщил мне о смерти брата, и я отправляюсь на его поиски. Я ищу везде, это очень важно. Какой-то голос подсказывает, что брата поместили в "закрытый морг". Я продолжаю поиски — пересекаю непроницаемые зоны, долго спускаюсь по лестницам на какую-то строительную площадку, попадаю в подвал с кирпичными стенами. Потом оказываюсь в зале, посреди которого стоит зелёный ящик. На ящик брошена противомоскитная сетка. А внутри ящика я вижу самого себя, Иова. Это меня потрясает, и я начинаю просыпаться. Впервые в жизни я вижу себя заросшего бородой, с асимметричной головой — ни зеркало, ни фотография так меня не разоблачали. Должно быть, я покинул тело для того, чтобы увидеть себя таким.

Другой "я" лежит мёртвый, накрытый сеткой, с широко открытыми глазами. Но нет, вот он выпрямляется, собирается что-то сказать. Его глаза блестят. И это **ОЧЕНЬ ВАЖНО**. Я весь в холодном поту. Невероятно! Сейчас он заговорит. Наконец-то всё станет понятно, наконец-то всё прояснится!

Он снова падает в ящик и замирает. Я едва сдерживаю рыдания. Потом пытаюсь уснуть, чтобы продолжить сон и услышать его слова, но ничего не получается.

— Привет, Эжени! Добрый вечер, моя радость!

Какой-то белый с пакетом под мышкой.

— Добрый вечер, Пресвятая Дева!

Он низко кланяется мадонне над прилавком.

— Хочу сообщить тебе кое-что по секрету... Этой ночью ожидается контрабанда — новый Иисус... Его родит негритянка — страшный удар для папы римского.

— Господин Крэббот, не святотатствуй!

— Приготовь нам два пунша, а третий — себе. Ох, уж этот экватор! Сейчас мы переоденемся и спустимся. Новый клиент?.. не похоже, что он развлекается. Эжени, сколько раз я тебе говорил, что в твоей конуре не хватает музыки и девочек!

— Ты хочешь, чтобы я позвала?..

— Наичернейшую из чёрных. Двух. Мы богатые сегодня, правда, Грег?

Его спутник не отвечает. Они стремительно поднимаются по узкой скрипучей лестнице. Я слышу шаги, шум ящика, который волокут по полу. Эжени исчезла. Картёжники спорят.

— Вот и я, вот и я. Я вам не судейский чиновник, чтобы носить пристежной воротничок.

Конечно, надо было заказать девочку. Но я не хочу больше развлекаться, я хочу знать. Абсолютный фанатик.

Впрочем, что я делал в этом лесу с Венсаном в течение целого года, как не развлекался? А что я делал на дорогах войны на протяжении четырёх лет, как не развлекался, всё время развлекался? Убегаю, но вперёд... В самом деле, возможно, всё это кончится на дорогах, всегда одних и тех же, или братской смертью при взрыве ракеты, невыносимая любовь, невыносимый бунт, который жаждет обрести покой казнённого, освободиться. Так, значит, бегство из тюрьмы? — но ведь никакой "полиции" больше не существует!

Или же как сейчас, вечером, в этой бухточке, всё кончится пьянкой и девчонкой?

Неужели, чтобы выбраться из своей кожи, нет ничего, кроме спермы с детишками да песен каторжников? Один и тот же торжествующий биологический круг! Неужели это всё, если тебе не удаётся закончить свою жизнь безымянным сумасшедшим?

И постоянно обманывающие нас надежды, которые мы передаём следующему поколению, как если бы взамен оно должно вернуть наши обманутые шестнадцать лет. Мы утратили тайну, она окончательно исчезла. В основании всех жизней скрывается крах.

Покоробленная "Империя индейцев" фиолетовым пятном лежит на столе — страница 17. И всё-таки я знал другие дороги, совсем не похожие на эти. Где-то в Гималаях среди дикого рододендрона стоит голубой дачный домик, и какой-то человек говорит мне. "Это неизбежно. В этой жизни, как и в любой другой, нужно смотреть правде в глаза, нужно выбирать". А высоко над соснами сверкают снега Нанда-Дэви.

Мне не нужны развлечения, я хочу знать! Отбросить все маски, убрать прочь декорации. Хоть один раз в жизни стать лицом к лицу с тем, что пылает внутри тебя, — будь то ангел или спрут, — сделать выбор: к лучшему или к худшему.

Час истины, способный изменить всю жизнь.

Они направляются прямо ко мне.

— Позвольте представиться: Крэббот, по прозвищу Адвокат.

— Иов. Иов Леглоэк.

— А это Грегори. Утверждает, что он англичанин. Я проверять не стал — это мой приятель.

— Англичанин! Such a relief to speak a foreign language<sup>1</sup>!

Англичанин смотрит на меня пронзительным взглядом, который раздевает меня и вызывает недомогание.

— Прошу меня извинить. Ни малейшего желания говорить на родном языке. Если вы не против, давайте по-испански...

Они садятся, англичанин держит на коленях гитару. У меня внезапная интуиция: этот кое-что ЗНАЕТ... Однако вид у него, если не считать глаз, совершенно невыразительный. Пожалуй, вообще никакого вида: маленький, со втянутыми плечами, безликий

---

<sup>1</sup> Какое облегчение: поговорить на чужом языке! (англ.)

рядом с костистым и зубастым Крэбботом. Но от Грегори исходит какая-то эманация. Крэббот давит на меня. У него уже пьяный вид.

— Что это, карта?

— Пустыня Гоби подсыхает.

— Увлекаешься географией?

— Нет, ищу пути.

— Позволь в таком случае один вопрос. Всё это очень мило, Иов, у тебя вид потерпевшего кораблекрушение, но что ты здесь делаешь?

— Там, с другой стороны, на меня давят.

Крэббот расхохотался. Неблагозвучный смех, словно кусок внутри отломился. Ему лет тридцать. Возраст англичанина определить трудно — где-то между двадцатью пятью и тридцатью пятью.

— Где ты пристроился?

— У сестёр, в больнице, но придётся их покинуть... Я кощунствую, говорю дерзости, невежлив, и потому...

— Ну так переезжай сюда, нет проблем. Я сооружу тебе что-нибудь наверху, верно, Эжени? Не грусти, я тобой займусь.

В мгновение ока всё устраивается. Только не надейся, милый Крэббот, ты меня не заполучишь, ни ты, ни эта бухта, вообще никто. НИКТО — это слово согревает меня, словно очаг в тюрьме. Какая у всех мания присваивать себе подобных!

Эжени приносит пунш. Англичанин от своей порции отказывается.

— Пойди натяни гамак на чердаке, где сети.

— Дорогой Иов, тебе повезло, что ты попал сюда!.. Таким, как ты, здесь делать нечего. Они плавают вокруг Антильских островов. Эта бухта полна пиратов — жёлтых, белых, чёрных, цвета какао с молоком — сплошные пираты. Особенно какао с моло-



ком, самые жуткие, остерегайся их — они такие же незаконно-рождённые, как и я.

Крэббот хохочет во весь рот. Мне не нравится его смех: какой-то двусмысленный, то ли ненависть, то ли насмешка. Англичанин упорно молчит. Он как будто дремлет, но я знаю, что это не так: его нутро повёрнуто ко мне. Лицо поразительно бледное, и однако же впечатление наркомана он не производит.

— А где твои вещи?

— Вещи?.. в общем-то, у меня нет вещей.

Крэббот рассматривает Китай. Вещи... я оставлял их повсюду, в Индии, где-то ещё — то и дело срочный отъезд, слишком много лишнего. А полгода спустя багаж снова накапливается, вечный багаж. Должно быть, всю жизнь буду выбрасывать его за борт...

Одни и те же ситуации повторяются без конца, как будто судьба снова и снова ставит нас перед лицом проблемы, которую необходимо решить, перед лицом одной и той же проблемы, только чуть-чуть под другим углом. Возможно, каждый обязан решить в своей жизни ОДНУ проблему, преодолеть свою собственную трудность. От чего же я бегу?

— Китай... как будто они там, а не здесь!

Крэббот пожимает плечами.

— Сколько заработал сегодня?

Грегори машинально вытаскивает из кармана деньги и кучей швыряет на стол. Они его не интересуют. Крэббот считает.

— Четыре тысячи семьсот! Вот это ремесло!.. Бренчит на своей гитаре по вечерам, а когда в кармане ни гроша, спит непробудным сном. Когда же совсем всё надоест, покидает страну... Не то, что я — приходится порой поломать голову, чтобы поучить всех этих пиратов судейскому уму-разуму.

Грегори ни на кого не смотрит, но не успеваю я открыть рот, как он, не поднимая глаз, говорит:

— Поеду, наверное, на север. Только не в Америку... Люди, которые говорят на моем языке, меня не понимают.

Он говорит очень тихо. Приходится наклоняться, чтобы понять смысл его слов.

— Хотел ехать в Лиму. Но перуанское посольство не слишком этого жаждет: спрашивают, есть ли у меня две тысячи золотых солей, почти пятьдесят тысяч франков.

— Послушай, Грег, я тебе уже говорил, что устрою тебе паспорт, но придётся довольствоваться Гватемалой, на большее я пока не способен.

Крэббот продолжает меня рассматривать.

— А ты? Что привлекло тебя в эту проклятую страну? Золото?.. В этой стране всё гниёт. Если тебе сразу же не повезло, считай, пропал. Отсюда не выбраться.

— Немного занимался золотоискательством. Раньше был в Колониях. Потом уволился.

— Сделал какую-то пакость?

— Пакость?.. Что с вами со всеми?

— Ничего особенного. Никаких наших пакостей всё равно не хватит, чтобы ответить на их пакости... А они делают их легально, уж это мне известно. Я служил на Мартинике адвокатом.

Он как будто всаживает зубы в слова, которые произносит.

— Так, значит, уволился... талоны тебя не устраивают?

Крэббот глоток за глотком потягивает пунш, который принесли ему и англичанину. Он поглядывает в ту сторону, где мадонна.

— Ты прав. Что касается меня, то я их ненавижу. Заполонили весь мир, чтобы строить свои гнёзда и откладывать в них яйца.

— Да нет, я не против них, я по другой причине.

— Да?

— Я не знаю... неопровержимая вещь.

— Единственная неопровержимая вещь, мой дорогой Иов, это то, что мы по шею сидим в дерьме. Ни будущего, ни настоящего. Вот и приходится убивать время. И всё время одно и то же, одно и то же... Пока на что-то надеешься, ты несчастен. Но когда утратишь всякую надежду, жизнь становится сносной. Так вот, я плюю теперь на свою жизнь, живу на износ...

Он упёрся локтями в стол, выставив вперёд подбородок. У него такой вид, словно он бросает вызов врагу.

— Идите сюда, мои красотки!

Вошли две креолки, яркие, как цветки, затянутые в промокший красный ситец. Метиски антильцев и китайцев — узкие глаза на тёмной коже. Крэббот хватает одну из них. Грегори даже не смотрит на другую, что подошла к нему.

— Итак, ни спиртного, ни женщин. Что же ты любишь?

— Спать.

— Ладно, Иов, возьми другую.

Девушка садится возле меня, вытирается салфеткой. От неё пахнет мокрой псиной и кокосовым маслом.

— Надеюсь, ты любишь креолок... Лично я от них без ума — с ними чувствуешь себя так, будто ты совершенно один.

Грегори стоит, поглощённый своей странной музыкой — рассеянная литания из трёх нот, которая вызывает в памяти дождь и ночь. Крэббот пьёт без меры и с угрюмым видом, то и дело лапая свою креолку. Я понял, что мне он совершенно не нравится.

В барак проскальзывает мальчик, весь мокрый, с корзиной из пальмовых листьев на голове. У прилавка видны его тонкие босые ноги в лужице воды. Он протягивает пустую литровую бутылку, в которую Эжени наливает тростниковую водку.

— Эй ты, иди сюда!

Мальчик подходит. Из-под корзины смотрят огромные чёрные глаза на серьёзном личике слоновой кости, какие бывают иногда у креолов. Лет двенадцать, не больше.

— Жан... что ты делаешь на улице в такое время?

В голосе Крэббота можно угадать нежность. Ребёнок неопределённо улыбается и шмыгает носом.

— Он послал меня.

— А-а-а...

— Он занят...

Мальчик крепко сжимает бутылку в руках, словно защищается. В уголках его рта уже залегли две складки.

— Ты сегодня ел?

— Немного... я не хочу есть.

Крэббот выхватывает со стола одну купюру и протягивает мальчику.

— Возьми!

Мальчик ещё крепче сжимает бутылку и ничего не говорит. На его лице застыло недоверие и скорбь. Крэббот вертит в руках купюру. Кажется, он покраснел.

— Он с женщинами, да?

Мальчик резко выпрямляется и бледнеет. Хочет что-то сказать, но не решается.

— А твоя мать... Мария-Тереза?

Что-то вдруг сверкнуло во взгляде мальчика, лицо его скривилось и задрожало, словно он собирался расплакаться, потом он резко повернулся и убежал. Крэббот остался со своей купюрой в руке.

— Его мать в тюрьме.

Крэббот бросает купюру на стол.

— Вообще-то, похоже, что это его сестра...

Он запнулся, словно хотел что-то объяснить, но передумал. Граммофон сверхвысоким тембром наматывал хриплую песен-

ку, казалось, он вот-вот сорвётся. Крэббот делает резкий жест, как будто что-то сметает.

— А ты, Иов?..

Он смотрит на меня с какой-то жалостью.

— Послушай, старик, не хочу тебя обескураживать, но твоя история мне известна: вся бухта её знает. Ты думаешь, что если ты белый... Ладно, не ершишь, я вовсе не пират. Мне абсолютно всё равно, нашёл ты золото или нет. Но что ты собираешься делать? Эти шакалы гонятся за тобой по пятам, и они будут непреклонны. Я знаю... Ах, старина, все страдают, повсюду страдание, мы — как обманутые дети.

Если хочешь, я помогу тебе немного. Я знаю здешние законы, со мной считаются. У меня есть приятель-китаец, он поможет тебе. Но даже если ты выкрутишься, разве твоё золото что-нибудь изменит?

Крэббот берёт свою девицу за руку и, опершись локтём о стол, гладит её пальцы, один за другим, как будто вытягивает из этой маленькой, тёмной руки невидимую нить.

— Самое ужасное, что это ровным счётом ничего не изменит. Ничего... У тебя будет свой пакет акций, большой или маленький, которого хватит надолго или не надолго, как есть он у Сатюрнена, Калюсса и всех прочих. А что потом? Для белых ты всегда будешь Иовом, их машина отлично налажена, уверяю тебя, она всё перемелет. Но дело даже не в этом...

Голос Крэббота дрогнул. Он оттолкнул креолку и, упёршись локтями о стол и глядя прямо перед собой, застыл.

— ...даже не в этом... Понимаешь, везде зло... Одного ребёнка, который безвинно страдает, достаточно...

Под его возбуждённой волчьей маской что-то пытается пробиться, но так и остаётся. Быть может, он смотрит на синезолотую мадонну над прилавком?

— Понимаешь, Иов, страданий одного ребёнка достаточно, чтобы эта земля была проклята... Да, и не надо широко открывать

глаза, потому что... Когда-то я захотел увидеть все эти страдания, глядеть на них, не отводя взгляда...

Крэббот беспорядочно жестикулирует, словно наталкивается со всех сторон на стены. Грегори перестает играть и внимательно его слушает.

— Мы все распяты... распяты и Иуды одновременно. Если широко раскинуть руки, вот так, мы, наверное, стали бы умирать от огорчения, умирать ежесекундно... понимаешь? Вот почему это невозможно — все строят себе гнёзда и откладывают там яйца, надеются вывести хоть одно золотое дитя, которое окупит бы все их слёзы. Я знаю... все матери — втайне святые девственницы, они ждут искупителя — и выводят гадких утят. Даже не утят — прожорливых тараканов.

Мою мать они убили.

Лицо Крэббота становится твёрдым, как камень, кулаки ввинчиваются в стол.

— Нет, я не золотое дитя, я осёл, слышишь, Иов, осёл! Остаётся только убивать время, и никакое золото ничего здесь не изменит.

Крэббот обнимает креолку, почти с нежностью гладит её волосы. Они вместе пьют. Теперь я понимаю, почему он любит креолок.

Грегори снова возвращается к своим трём неотвязчивым нотам. Глаза полузакрыты, словно он ткёт невидимую нить, чтобы улететь неизвестно куда, что-то вроде заклинания: остаётся только убивать время, убивать время... Эжени невозмутимо восседает под гипсовой мадонной. У девицы между грудями золотой крестик. Она приподняла свои юбки. Идёт дождь.

Дождь будет идти недели, месяцы.

Большая голубая яхта... Но что способна изменить моя яхта в этой проклятой истории? На её борту больше никого не будет. Не будет бухты, не будет Миньяров, Лопесов, ненавистных инспекторов. Но моё "я" постоянно здесь, моё невыносимое "я"...

— Кончай, Иов, не убивайся, привыкнешь.

Уехать? Но все дороги одинаковы. Остаться?..

Это кораблекрушение. И все эти шакалы, которые гонятся за мной по пятам. Вот и затонул мой "Пилигрим", а что остаётся?.. Только эта бухта, вечер с пьяным Крэбботом и ушедшим в себя Грегори, и этот невыносимый Иов Леглоэк. Совсем нечем дышать...

Уехать! А действительно ли я хочу уехать? Я слишком много ездил... Желание стереть всё и никогда больше об этом не говорить. Всё бросить, и золото, и "Пилигрима" — оставить одежду на берегу и навсегда исчезнуть в море.

Вот она, эта минута, которую я откладывал долгие годы, а то и жизни, — минута пустоты. Пусть ничего не останется, ничего и никого. Ни молитвы, ни надежды, ни единого жеста — и когда всё превратится в соль, навсегда открыть глаза, как открыты они у застывших персонажей на стенах в Долине царей.

Одна и та же минута во всех моих существованиях, как будто я совершал одно и то же преступление, одно и то же, невидимое, не знаю какое, и вот я снова возвращаюсь, чтобы довести всё до конца или возобновить сначала, в железных тисках круга, до тех пор, пока колдовство не спадёт. Все бегут за мной, я убегаю, убегаю... затравленный, загнанный, прижатый к железной двери... Я на острове, где одни звери. Они повсюду — за каждым стволом, за каждой веткой. Я задыхаюсь! Тысячи смертей каждое мгновение, тысячи смертей — даже тех, кто не способен умереть! Нужно сделать своё дело до конца, нужно решительно разрубить узел.

Уехать! Саудовская Аравия — слишком оголённая страна, чтобы спокойно там догорать, Йемен — чуть лучше, но нет, последняя искра во мне кричит: НЕТ!

К тому же я доходил уже до Зиндэра, до Джидды, до Газни. Пустыни мной испробованы.

Продать золото и бежать! — запрещено покидать Кайенну до окончания расследования.

Йемен, возможно Йемен... не знаю, всё равно куда, всё равно. Нужна виза, залог... нужно ждать паспорт, заполнять анкеты, письменные показания под присягой, разноцветные декларации. Долгие месяцы сидеть в бухте с Крэбботом и Эжени, разглядывать олеографии, слушать граммофон, зияющий в пустоте, и дождь, обваливающийся в глубь моего существа, как в развёрстную дыру. Одно слово, чтобы выбраться отсюда, одно слово, пароль!

Нарканд!

— Крэббот!..

Он смотрит на меня мутными глазами.

Я должен произнести слово, заклясть злых духов, окропить святой водой чудовищ. И не могу.

— Что?

Я трясусь его за рукав.

— Что случилось?

— Послушай, ты, алкаш!

Грегори открывает глаза.

— Нарканд, в Индии...

Наконец-то я обрёл почву под ногами, вздохнул с облегчением! Нарканд... Мне хочется зарыться лицом в горячий песок и дышать, дышать, плакать, заснуть. Нарканд... Я ласкаю это слово, словно дикую птицу, легонько, птица ещё вырывается. Я закрываю глаза, слышу как шёпот издалека: Нарканд... чуть слышный... словно из глубины долины доносится шум приближающегося каравана. Я коснулся земли, я спасён, я тонул, но меня успели вытащить из воды!

И вот в бараке звенят бубенчики мулов. Непальские носильщики с тюками кофе, идущие в Тибет. В лёгком воздухе запах сосновой смолы и дикого шиповника, кедры, как шумные пагоды на рассвете. За поворотом открываются искрящиеся ярким светом ледники; крутые склоны в дымке, собаки, мулы и весь кара-



ван в мускусной какофонии. И долго ещё в темной долине чуть надтреснутая бронза храма, возможно, та самая, что и тысячу лет назад, отзванивает гимн Солнцу — похитители света изгнаны из пещер!

— Что, Нарканд?

Крэббот, загадочный Крэббот смотрит на меня. Неужели рука этой креолки может коснуться моей Индийской империи?

— Что ты там делал?

— Я...

— Говори, я с тобой разговариваю.

— Ничего хорошего, я искал... тогда я ещё причислял себя к белым...

— Ты видел факиров?

— Нет, я видел орлов — ОДНОГО орла...

Крэббот склонился ко мне и смотрит с любопытством.

— Странная история... У меня был приятель, Кешав, который жил на севере, у границы; он рассказывал, что в Нарканде спрятано сокровище, это легенда... один раджа бежал от монголов и спрятал сундуки с сокровищами в орлином гнезде. Впрочем, это даже не гнездо, а что-то вроде огромного грота, недалеко от тропы, ведущей к Тибету... Никто не осмеливался идти на поиски этого сокровища из-за проклятия, да и место практически недоступное.

У меня был ещё один приятель, авантюрист по прозвищу Маркиз, немного похожий на меня, и он во всё это поверил. Мы решили отправиться на поиски втроем.

— Ты, кажется, начитался приключенческих романов!

— Вовсе нет! Разве ты не находишь, что верить — великолепно? Без веры мир становится омерзительным!.. Когда ни во что не веришь, ничего и не происходит, если не считать поездов метро: по одному поезду каждые две минуты.

— Ну и что дальше?

— Дальше? Мы ничего не могли предвидеть. Купили на базаре верёвку, чтобы влезть по ней, и непальский кинжал, защищаться от орлов. Ну, и отправились в путь в городской обуви. Мои ботинки так и остались там, наверху, увязли в орлином помёте... толстенный слой помёта, представляешь, сколько его там скопилось за столетия! Если будущие археологи обнаружат их, они подумают, наверное, о крылатых двуногих!.. Кешав был вне себя от страха, ведь он знал легенду.

Пришлось карабкаться, продираться вдоль оврага сквозь непроходимые джунгли. Наконец мы добрались до расщелины, метрах в пятидесяти над гнездом орла, изорвав при этом всю одежду в клочья. Маркиз обвязал меня верёвкой — я был самым лёгким. Кешав ничего не говорил, он весь позеленел от страха.

Спуститься было не так трудно, но подняться... Кешав считал меня погибшим, проклятым... Я слышал, как он бормотал наверху псалмы, чтобы предотвратить судьбу. Внизу была потрясающая пустота. Короче, у меня две недели болели ребра.

— А сокровище?

Крэббот смотрит на меня с полупьяной усмешкой. Грегори давно ничего не слушает, а ведь я рассказываю для него... Возможно, он спит. Никакого больше желания разговаривать. Всё выглядит так, словно я собираюсь надругаться над их чувствами. Моя креолка залпом выпивает стакан тростниковой водки, стакан в её руке дрожит. Как рассказать им?

— Ну, рожай наконец!

— В общем, ничего. У меня не было с собой лопаты. Пришлось рыть помёт ножом, потом руками — ножом слишком медленно. Я ободрал все пальцы до крови... А потом прилетел орёл...

Один из картежников схватил Крэббота за рукав, очень чёрный, с короткой погасшей сигарой за ухом. Я больше ни в чём не уверен, как будто сплю. Возможно, я думаю в этот момент о Крэбботе? Эжени снова завела граммофон.

— В любом случае это вызов...

И всё-таки я начал рыть ножом в пещере, шарил, как крот, в мягкой толще, которая пахла терпкой и чуть сладковатой десятивековой гнилью. Сверху валялся свежий скелет ягнёнка. Вода сочилась по стенам между острыми выступами, словно вымазанными гудроном, — можно было подумать, что пещера, уходя на десять метров в глубину, образовалась от взрыва бомбы. Сердце моё бешено колотилось (да ещё эта история со змеёй... какие мы всё-таки глупые!); иногда мои пальцы наталкивались на твердую массу, о которую я их обдираю — не крышка ли сундука? — стоя на четвереньках в этой дыре, я разрывал липкий навоз. Меня охватила лихорадка. Я всё забыл, обо всём. Внизу что-то было, я до сих пор в этом уверен — и я принялся рыть руками, скрести, как одержимый. Я скрёб и скрёб, отколотые куски летели в пустоту, я углублялся в воронку, ничего не видя и не слыша, как будто влекомый головокружением, подцепленный, пойманный на якорную цепь, схваченный длинными тёплыми пальцами анемонов под уснувшими веками, пленённый звездой, которая упала догорать на дно зияющей дыры, в пещеру с сокровищами...

— Она в больнице. Её отправят в Форт-де-Франс... Пыталась покончить самоубийством, два раза...

Эта звезда меня преследует; я видел её даже на улицах Парижа, как будто что-то догорало перед моими глазами на рекламных панно или, возможно, в голове; после всего — силуэт чёрной звезды, и я вот-вот перейду на другую сторону.

— И это вся твоя история?

— Нет... Не знаю...

— Как это — не знаешь?

Шорох, шелест крыльев. Я мгновенно обернулся со своим дурацким ножом в руке. Он был там — огромный белый орёл.

Орёл медленно сложил крылья. Он, как высеченный, неподвижно стоял на свету. Его глаза смотрели на меня — две искры с золотым ободком — всего секунду; не отводя взгляда, он медленно-медленно закрыл их; клянусь, он подал мне знак!.. Потом

резко развернулся и бросился в пустоту, распластав над сверкающим Тибетом свои гигантские крылья с чёрными перьями.

— Ты отбивался?

— Нет. Он на меня посмотрел... понимаешь, посмотрел.

— А потом?

— Ничего, он улетел.

— Бедняга.

Крэббот пожимает плечами. Всё было скомкано у меня на глазах. Есть вещи, о которых нельзя говорить даже себе, — они умирают, как те северные птицы, которые не живут в клетке.

— Уверю тебя, все это фарс. Прокурор — негодяй... Я сам поеду в Форт-де-Франс...

Крэббот говорит с гневом, сжимая руку своей креолки. Эжени потихоньку вытанцовывает самбу, раскручивая жёлтые воланы юбки.

Больше я ничего не помню. Должно быть, впал в сон.

Да, там, наверху, в орлином гнезде, я в самом деле увидел что-то, почувствовал, прикоснулся, как будто вдруг погрузился — **ДЕЙСТВИТЕЛЬНО** погрузился в сверкающее пространство. Я тоже, взмахнув крыльями, сверкнул дугой в солнечных лучах.

Что-то оборвалось во мне. Что-то внутри отскочило, как будто исчезла тяжесть, которую носишь в себе. Я улетел. Улетел, как луч света, вибрируя, вырванный из самого себя, — конец Гартáрии!

Маковые поля, ржаные площадки, Маркиз, Кешав, моя тень — тень в этой пещере — всё, всё исчезло.

Мои крылья были раскрыты над снежными полями, тысячи маленьких, сверкающих крыльев моего "я", тысячи дрожащих птичьих хлопьев в радостном головокружении. Я находился в полёте, распахнутый, утративший своё тело. Гордый и белый, покоролевски парил над застывшими веками. Потом устремился в

глубь пространства, как будто пронзённый невыразимой памятью.

— Слышишь, Иов, чем дело кончилось?..

— Какое ещё дело?

— Она утопила своего малыша в болоте, Мария-Тереза, сестра того мальчугана, после того как родила его в каком-то углу. На неё донесли соседи. Креолка, девица-мать. Она не хотела незаконнорождённого сына, и она абсолютно права.

Крэббот оттолкнул свою девицу локтем. Его челюсти сжимались, словно он грыз кость.

— Думаешь, отца ребёнка в чем-нибудь обвинили? Он был в зале суда и всё слушал, дерьмо!.. А судьи? шуты гороховые! Ни один из них с их хвалёной совестью так и не сумел понять, что ей пришлось утопить незаконнорождённого, потому что она девица, потому что её выгнали из дома, потому что этот негодяй её бросил, потому что все креолы — христиане и потому что она была одна, совсем одна против всех этих добропорядочных подонков... Ей следовало бы убить себя, но здесь она совершила ошибку. В общем, ей дали по максимуму, ведь она погубила не себя, а своего ребёнка... Ты, конечно, ничего не знаешь о христианизации антильцев... об этом слава ходит... А я знаю, моя мать умерла от этого. Мерзавцы, уверяю тебя, мерзавцы!

Крэббот колотит кулаком по столу.

— Эжени! Принеси бутылку водки. Отпразднуем Рождество!

Эжени прижимает бутылку к груди. Она смотрит на Крэббота с грустной нежностью.

— Не вмешивайся. Это дело чёрных.

— А я — чёрный! Оставь меня в покое.

Она вытирает стол передником и глядит на нас нерешительно, потом, раскачивая бёдрами, уходит.

— Так-то они празднуют Рождество!.. Присвоили себе Христа: сделали из него церковного святошу... Если будет Второе при-

шествие, Иов, в храме устроят святую чистку. А может, и храма никакого не будет.

Грегори перестал брэнчать на гитаре. Он сидит с закрытыми глазами, слегка наклонившись вперёд и как бы отсутствуя. Выкрики картёжников механически падают в звонкую пустоту барака. Я начинаю понимать, что Крэббот наводит на меня ужас.

— Моя мать погибла от этого, понимаешь, погибла... Я тот, которого не утопили, поганый внебрачный ребёнок. Незаконно-рождённый от креолки и белого...

Его голос дрогнул. Вызывающий вид исчез, осталась какая-то тоска, которая взволновала меня.

— С тех пор его, естественно, больше не видели. Кажется, в его стране разрешали жениться на креолках. А в моей стране иметь внебрачных детей нельзя, и потому, родив меня, моя мать повесилась.

Крэббот стал белый, как простыня.

— А должна была утопить меня, как Мария-Тереза.

Он смотрит застывшим взглядом куда-то поверх мадонны. Он невероятно далёк от нас, далёк в своем страдании и ненависти, весь опоясанный запертыми зонами, как тот, кто несёт в себе глухой рокот кораблекрушения.

На стене мерно тикают ходики. Дождь настолько плотный, что напоминает морской поток. Никакого Йемена не хватит, чтобы стереть всё это из памяти!

— И всё-таки он меня признал, этот господин. Должно быть, совесть заела. Облегчил душу перед нотариусом, но в глаза я так его и не видел. Каждый месяц он присылал деньги: оплачивал моё содержание, платил священникам, которые меня учили, и даже за высшее образование. Платил целых двадцать лет — честный человек... Но однажды я всё понял. Я плюнул ему в лицо, швырнул ему деньги, бросил университет, разорвал акт признания отцовства... но всего этого было мало. Необходимо было вырвать его из себя, изгнать прочь белые хромосомы... Когда-нибудь я поеду во Францию в Сен-Брие и убью его!

Голос Крэббота срывается, слова вылетают прерывистыми струями, как из лопнувшего котла. Ужасный бесцветный голос.

— Тогда, возможно, я успокоюсь... Хотя не уверен. Есть ещё святое семейство моей матери, патриархальное семейство Мартиныки, добрые души, которые позволили дочери повеситься, потому что католичество не признаёт внебрачных детей... Её похоронили, как собаку, — даже кладбища не удостоили... Всю бы жизнь их убивал!

Крэббот медленно проводит рукой по лбу.

— Ложь, везде ложь! Уничтожить бы весь этот гнусный и лицемерный мир, всех этих спекулянтов Богом и законом, вырвать их, как проказу. И всех остальных тоже, лучшего они не заслуживают.

Крэббот вцепился в стол. В его голосе нет ненависти, он совершенно бесстрастно подводит итог своей катастрофе. Эжени смотрит на него с каким-то испугом. Грегори неподвижен, как статуя.

— Поверь мне, в этом мире нет ничего настоящего. Для нас здесь не осталось места. Я хотел быть адвокатом... но некого защищать, понимаешь, некого. Всё надо разрушить.

Девушка Крэббота вдруг расхохоталась. Она хохочет, как сумасшедшая, ухватившись обеими руками за живот. Катается по столу животом, водка течёт по её юбке. Что она почувствовала своим инстинктом? Картёжники притихли. Крэббот замер. Кровь стучит в его висках.

Он любезно подставил свой стакан девушке. Её смех его как будто утешил.

— Пей, пей, моя красотка! Сегодня ночью утешим друг друга.

Грегори снова принялся брэнчать на гитаре. Три ноты, всего три звука под плеск дождя.

— Знаешь, Иов, вряд ли я что-нибудь буду делать. Такая тоска: убивать их, обращать... А ведь когда-то я хотел быть проповедником, примерным учеником святого Петра... Мне казалось, что

миру не хватает любви — я хотел, чтобы люди это поняли, я любил их... Бродячий проповедник — как прекрасно!.. А потом я сообразил, что все эти церкви — предприятия для кражи душ. А те, кого я собирался обращать, — проходимцы, которым нужно только жрать и которым на всё наплевать.

Грегори мягко постукивает по корпусу гитары.

— Плюну я на всё. Уйду куда-нибудь в лес, будто бы искать золото, а сам построю хижину и буду жить там, рядом со змеями и обезьянами.

Он ласково гладит затылок своей девицы, словно ласкает животное. Его взгляд снова остановился на мадонне.

— А может быть, вообще ничего не надо: ни хижины, ни отцеубийства? Останусь лучше здесь, у Эжени, и буду ждать конца... Жаль только, спать, как Грегори, не умею. Днём ещё ничего, а вот ночью...

Картёжники спорят с Эжени. Скамейки царапают пол. Девица рядом со мной уснула, её крошечная рука распласталась на жёлтом пятне Туркестана.

— Уже девять лет, как я здесь... Так что не надо принимать меня всерьёз. Я — клоун, незаконнорождённый клоун, то весёлый, то грустный, клоун, который позволяет разбивать на своей голове яйца... Но иногда я могу быть полезным.

Сегодня я выдал тебе нервный срыв обманутого божественного дитяти. Теперь меня на следующие девять лет хватит. Ты ещё увидишь, я и смеяться умею.

Не знаю почему, но мне захотелось вдруг что-нибудь сделать для Крэббота.

— Послушай, Крэббот, у меня идея... Там, в лесу...

— Да зачем мне твоё золото!.. Любить невозможно, Иов, — вот, что приводит меня в отчаяние. ЛЮБИТЬ, понимаешь?

Он с горькой улыбкой смотрит на свою креолку.



— В один прекрасный день я возьму такую девицу и наделаю ей ребятишек цвета какао с молоком, которые будут вне закона и которые никуда не впишутся. Не так ли, Кунигунда?

Ладно, пойдём, нужно убить время. Мы вдвоём — прекрасная пара!

Тиканье часов и бесконечный дождь завладели быстро. Грегори не слышит дождя, кажется, он вообще ничего не слышит, кроме трёх нот своей гитары, над которой он склонился, закрыв глаза, как египетская кошка.

Он слушает меня изнутри. Мы уже всё сказали друг другу, всё уже пережито.

Три раза прогудела сирена, точно так же, как одним туманным утром в Гавре, когда я уезжал неизвестно куда, хотя путешествие уже было совершено. В одну секунду на палубе, где скрипели лебёдки, я обогнул половину земного шара, всё сделал, всё увидел, и теперь оставалось заполнить время жестами, пересказать молнию.

Тысячи и тысячи раз пьеса сыграна, известна, прожита, извечна, мы только затягиваем конец! И эта клейкая масса времени, в которой я с трудом барахтаюсь, беспорядочно совершая какие-то незначительные и болезненные жесты, — всё это втиснуто в одну оставшуюся в прошлом секунду и теперь бесконечно раскручивается.

Крэббот постоянно присутствует здесь своей туманной кильватерной струей. Грегори не шелохнётся. Нужно как следует стукнуть кулаком по его заколдованному корпусу, чтобы встряхнуть его.

Всё время чего-то не хватает.

Отсутствие чего-то — мой глубинный порок, должно быть, именно об этом кричал я, покидая живот матери. "Нет" спёртому, варварскому, лживому миру, который ещё не родился. Нужно высвободить свой животный ночной вопль, изгнать его. Он опутывает меня изнутри, словно спрут, до последнего капилляра, непрерывно меня гложет. Чёрный огонь, рваная рана, скала, обрушившаяся на живого человека, ожог, дыра... Нужно вырвать то, что наши отцы и отцы наших отцов донесли до нас со времён негритянской прародины. Невырвавшийся крик, невыносимый крик. Перевернуться всё равно в какую сторону, лишь бы раскрылся этот несомненный цветок, и — вспыхнуть ярким светом! Чтобы ничего не осталось, кроме ослепительного моря с одиноким криком чайки.

Другой во мне начал очень тихо петь. Что значит это смутное пение, этот призыв в ничто?

*Пройдём ли мы сквозь ночь?  
Пролетим ли сквозь миллионы лет?*

Уехать! уехать в настоящую страну.

Йемен... он так же фальшив, как и все арабские страны. Разве я не видел в Джидде, среди засохшей грязи мусульманских селений, арабских шейхов, купающихся в драгоценностях и в охровой карусели кадиллаков?

Туркестан тоже фальшив, он преследует меня уже четыре года, с двадцати лет, как если бы скрывал какое-то сокровище, зарытое за Кашгáром... Я дошёл до Кашмíра и встретил там караванщиков Ладáкха. Я таскаю с собой китайскую грамматику — быть может, когда-то я двигался с монгольской ордой? Я знаю одну крепость в скалистой пустыне, у перевала Латабан, там я слушал, как поднимаются во мне волнующие звуки. Но дорога в Син-Кьян была заблокирована.

Фальшивая страна, фальшивые пустыни. Залежи урана и нефти; караванчики, вооружённые счётчиками Гейгера. Ах! все мои комбинации от Гренландии до Памира! что ещё попробовать?

Повсюду границы, полиция, инквизиция — я зажат здесь, загнан на экваторе в дыру, которая плещется и сочится. КТО ТАМ?

Словно в насмешку, прямо передо мной лежит огромное жёлтое пятно Внешней Монголии, простирающееся до синих границ недоступного Тихого океана; название, как удар кулаком: Джунгария! Ради этого слова я готов обежать половину земного шара! А я здесь, словно Крэббот, снаряжаю нереальные караваны в пустыни, которых больше не существует, натягиваю ложные паруса, в которые никогда не подует ветер. Можно было бы спеть так:

*Мы больше не будем гнаться за "Пилигримом",  
Лавры срезаны;  
Мы выстроимся по четыре человека в ряд  
И отправимся в очередной отпуск.*

Мы станем лёгкими и прозрачными только тогда, когда превратимся в пыль.

*Поедем...*

— Довольно!

Грегори смотрит на кулак на столе, он улыбается.

— Что? как Крэббот?

— Куда ехать, Грегори, куда? Всё закрыто.

— Тебе не хватает карт?

— ...

— Ты наивно выглядишь со своими картами.

— Наивно... но что делать? Построить своё гнездо и откладывать яйца, как говорит Крэббот? Развести свой сад, разбить огород на случай, а вдруг там вырастет редкая тыква?

Его улыбка крайне меня огорчает.

— Наивно? В таком случае попробуй уехать без ничего, без гитары, имея только руки негра и билет на нижней палубе, и ты сам увидишь.

Он смеётся надо мной, и это приводит меня в отчаяние. Никто мне не верит.

Конечно, мои карты абсурдны, настолько абсурдны, что когда-нибудь они утратят всякий смысл, но я буду богат на пяти континентах, не считая всех остальных... абсурдны, и всё-таки я знаю, что за всеми моими путешествиями есть путешествие, которое поможет отыскать мою страну.

— Зачем тебе ехать?

— Не знаю... мы такие юные перед миром вещей, понимаешь, совсем лёгкие — почти новорождённые. А кончаем тем, что кладём вещи себе в карман. И тогда всё проиграно, надо начинать сначала.

— В таком случае поезжай.

— Но куда? Я не могу остаться и не могу уехать, я задыхаюсь. Но я верю, отчаянно верю. Нужно, чтобы что-то произошло...

— Быть может, нужно действительно родиться?

Только истинная жизнь не здесь. Я как будто где-то рядом, на границе, как вот эта река, что извивается между жёлтым массивом Гоби и зелёной сибирской тайгой, и даже не река — отсутствие чего-то... того, что прорвалось во мне однажды в немецкой камере. Тогда я оказался раскрытым.

— Послушай, Грегори...

Я по-прежнему слышу звон циркулярной пилы за стеной: моё зияние напоминает воронку, которой нечего втягивать, кроме душераздирающего визга пилы.

— Послушай, что я тебе скажу. Я сидел в камере смертников, в гестапо, во время войны. Мне было двадцать лет, как раз пятнадцатого ноября...

Пяденицы кружат вокруг керосиновой лампы и натываются на стекло. Люди повторяют одну и ту же историю и натываются, натываются на невидимое стекло. И так без конца.

— Каждое утро я ждал шаги в коридоре. Просыпался, когда ещё не было трёх часов, и ждал. Было холодно и темно, пахло мочой — в углу стояло ведро... Я прислонился к стенке, завернувшись в одеяло. И не слышал ничего, кроме своего сердца, которое громко стучало, — я состоял из одного сердца! оно билось в пустоте... Прижав колени к груди и обхватив их руками, я словно старался что-то удержать, но ничего не мог удержать, ничего, кроме барабанившего сердца и отсыревшего одеяла с запахом конского волоса... Я был ночным утопленником, я цеплялся за ночь обеими руками.

Нет, смерти я не боялся, не это. Небытие в жизни страшнее, чем смерть.

Рядом с тюрьмой была лесопилка. Шесть часов в день там пилили дрова. Циркулярная пила... она вращалась, мелодично повизгивая, потом вдруг входила внутрь и вырывала всё — словно вспарывала живот — с мучительным стоном в самом конце. После чего всё повторялось: сначала — песня, потом — вспоротый живот. Во мне ничего не осталось, понимаешь, НИЧЕГО. Я был опустошён, ограблен, выпотрошен до мозга костей... Кожаный мешок, в который на протяжении двадцати лет кто-то — книги, родители, учителя — складывал свои отходы... всё время кто-то и никогда я сам.

Пожалуй, я казался себе героем. Несчастный герой! Ещё одна героическая глотка для других. Для себя — ничего. Ничего, ни секунды для себя. Я прожил двадцать лет скоморохом и скоро умру для всех. Что такое "я"?.. не знаю — щель, в которую всё глубже входит циркулярная пила...

И тогда я решил всё изменить. Это не было бунтом против других, это не было лицемерием. Клянусь тебе, я излечился от навязчивых идей. Но чудеса по-прежнему нет — вот в чём ужас... уже десять лет со мной происходят самые разные вещи, какие угодно, кроме истинной.

— Так выйди из себя!

— Я только этого и хочу!

— Послушай, Иов, я знаю то, чего не знаешь ты. Я даже знаю, что ты ищешь, растрчивая уйму сил и времени. Ты просто терешишь время. И не страну надо покидать, а тело, как снимают одежду перед сном, но сохранить при этом ясную память. Обычно мы забываем... только не смотри на меня такими удивлёнными глазами — да, надо выйти и прогуляться. Неужели ты думаешь, что вся жизнь проходит в одном теле?

Глупость, конечно, но мне вдруг показалось, что Грегори гораздо больше, чем его тело, что он выпирает из своего тела. И эта рубашка в красную клеточку...

— Это нетрудно, нужно только сосредоточиться. Ты уже готов к этому, я знаю. Собери внутри все свои силы, не растрчивай их снаружи — и погружайся! Ты избежал смерти в камере, возможно, потерял сокровища, но теперь переходи к другим вещам! Всё происходит в другом месте, понимаешь?

Грегори взял меня за запястье. Я почувствовал что-то очень сильное, какую-то вибрацию, которая хочет проникнуть в меня и меня переделать.

— Если хочешь, я научу тебя. Выходить совсем нетрудно, надо только немного привыкнуть. И тогда, уверяю тебя, начнётся настоящее путешествие.

Голос у Грегори очень тихий, словно он шепчет, но какая в нём уверенность! У меня такое впечатление, что он вокруг меня, что он меня обволакивает.

— Люди не знают... Они как принцы: живут на краю огромного мира и выглядывают в окошко. Они думают, что сны — это выдумки. Впрочем, они не умеют видеть сны. Они думают, что для этого нужно лечь в кровать... что для того, чтобы видеть чужие страны, нужно путешествовать, а для того, чтобы лететь, — садиться в самолёт...

Он медленно вытирает свои влажные руки. Пальцы правой руки очень худые и деформированные, с бурыми мозолями на фалангах. Грегори словно околдовал меня.

— Есть опасные зоны, где кишат обращённые внутрь преступления людей, их страсти, их горестные истории. О, если бы они увидели те ужасные мелкие сущности, которые жиреют от их зла... и они ещё считают себя хозяевами! Ты пройдёшь это, если не испугаешься, и тогда тебе откроется мир бесконечных приключений.

Что за властью наделён этот человек?.. Нождаданно он взглянул на меня. Его глаза пронзают меня, как бурав.

— Слышишь, Иов, ты покидаешь тело, как старое отрепье, ты видишь прекрасный сон: я могу тебя этому научить.

— ...

— Ты хочешь этого.

Палец Грегори медленно движется по столу среди лужиц водки, касается моей ладони. Я делаю попятное движение.

— Ты мне не веришь?

— Верю...

Часы со звоном надтреснутой тарелки отбивают два часа. Неужели только во сне можно открыть дверь, а в реальной жизни — нет? Жизнь всё время обманывает тех, кто верит в небо, но ещё больше тех, кто верит только в жизнь.

— И наступает мир, Иов, ты покидаешь сцену и видишь всё издадека...

— Я знаю... Я курил опиум в Индии, чтобы заглушить себя. Пробовал и другие наркотики, которые вызывали бред и давали мне покой... чего я только не пробовал! Особенно опиум — чёрное чудо — чёрная ложь. Но что может от него измениться, скажи мне? Пришлось очищаться от ядов: я подышал, как скотина. О-о! Не я сам хотел этого — я бы всю жизнь курил опиум — внутри меня был кто-то другой. Мне нужно что-то другое, понимаешь, другое!



— У меня секретов больше, чем ты думаешь, Иов, и пресечение дорог бывает иногда очень любопытным. Если хочешь...

Едва уловимый отсвет блеснул в его глазах. Не уверен, что я это видел, но всё во мне сжалось.

— Поехали со мной, бросим Кайенну.

— Нет.

— Тогда что? Лес, змеи, хижина, как Крэббот?

— Нет.

— Но чего же ты хочешь, в конце концов? Остаться в бухте?

— Нет.

Он резким жестом подхватывает свою гитару — и я снова один. Я не среди этих и не среди тех. Я где-то в другом месте. Я не принадлежу ничему, никому, — НИКОМУ, вот в чём истина. Можете всё время бежать за мной, но вы меня не поймаете! Я есть то, что в глубине моей души — гранит и пламя — неприкасаемое, ничему не поддающееся, сверкающее, как молния.

Невыносимое "я", неприкасаемое для меня самого! Если бы я мог ухватить то, что я есть, что всё время ускользает ото всех и от меня, то, возможно, всё примирилось бы и было спасено. Я принял бы мир, всё стало бы "да", светом и тишиной.

— Любопытно, Иов, но всякий раз, когда я на тебя смотрю, я вижу две твоих судьбы, две возможности, одна из которых как бы тень другой. В тебе это очень чётко, очень ясно...

Грегори не сводит с меня глаз.

— ...и как раз в том углу, где самая густая тень, там самая сильная возможность света. Я не могу это объяснить... но это отлично видно. Излечение происходит через боль.

Не знаю, впрочем, зачем я тобой занимаюсь, ты упрям, как осёл, и безумно самолюбив.

— Нет, нет! Я не самолюбив, у меня демон внутри, он без конца меня тянет... наверное, это он заставляет меня карабкаться, ина-

че меня засосало бы на самое дно. Я то и дело выбираюсь из ямы — и так без конца.

— Я предлагаю тебе выход, а ты отказываешься! Ну что ж, оставайся там, где ты есть. Полиция поможет тебе отыскать твоё предназначение. А пока можешь убивать время с Крэбботом.

— Убивать время!

Я как будто остолбенел. Вот оно, прямо перед глазами: концентрационный лагерь, спуск к реке...

— Да, убивать время, именно так, Грегори!

Я в таком состоянии, будто меня укололи.

— Ведь есть и другое время, послушай, я видел это однажды... Нет, я не в силах объяснить... Но это правда. Здесь ложное время, которое ничего не значит, серое, густое, свинцовое, время, в котором постепенно сгнивают, где ты — ничто, где ты только ешь и работаешь. Время, которое пахнет трамваем и кухней. Я знаю, Грегори, как же я мог забыть! Позади время лёгкое, позади — время живое! Я узнал это в концлагере — время оказалось настолько израсходованным, что я увидел через него свет.

И вот я вспоминаю ту странную вещь, которая родилась одной ночью.

Строем по четыре человека, с лопатой на плече, мы выходили, едва забрезжит рассвет. *Augen gerade aus*<sup>1</sup>, нас считали, как скот, и обыскивали в поисках клочка газеты или картона, засунутого тайком под одежду. И с тупым звуком в тишине, механически сыпались удары — они сыпались ежедневно; каждый день на заре мы выходили строем по четыре человека, чтобы пережить то, что не имело конца, всё тот же кошмар, вечно повторяющийся в застывшем и необъятном времени, в безвозвратном времени, затерянном где-то вне мира.

Все мы были перемешанные и безымянные тени с бирками; иногда это смутно вспоминалось, после того как проходил убийственный страх, — мы сами были как легенда.

---

<sup>1</sup> *Augen gerade aus* — смотреть вперёд (нем.).

Каждый день мы умирали в тех, кто умирал, переживая одно и то же подобие смерти, чтобы снова и снова продолжать жить в этом множестве, где каждый был всем и никем, ошеломлённые бессмертные с маленькой биркой, выходящие по четыре человека, — механизм никогда не умирающий, копающий могилы, в которые он никогда не упадёт, с глазами, устремлёнными вперед, в зияющую вечность.

Мы шагали через застывшую зарю в фантастической стране, где поля, засаженные свёклой до самой реки, насколько хватало глаз стирались и тонули в молочном тумане, — глаза глядели прямо на солнце в белой, как полотно, дали.

Я искал всюду одну-единственную вещь, я был как ребёнок, который её потерял. Что оставалось ещё терять, кроме используемого не по назначению времени, где упорствовали голод, холод и страх, — чудовищное отсутствие? Что оставалось?

Я углублялся в этот застывший рассвет через мёртвые годы, в глубь той же пропасти, как бы сквозь сон длиной в двадцать лет в обратном направлении. Я снова и снова поднимался по туннелю в поисках знака, чтобы убедиться в самом себе, но становился всё более хрупким и оголённым, словно готов был вернуться в чрево матери, не оставив позади себя ни одного дня, ни одного проблеска света, чтобы сказать, что я родился, ах! такой оголённый в этой заре.

Все напрасные годы выskalывали из моих холодных рук, словно морской песок просыпался сквозь пальцы моего детства, и медленно-медленно в глубине памяти трепетали какие-то хрупкие золотые песчинки, настолько хрупкие, что они были ничто, хотя в них было всё.

Там, в глубине, как капелька света, — была улыбка, которую мать влила в меня своей любовью... А ещё дальше — запах фикуса и гвоздики, как в тот день, когда я бегал по песчаным равнинам среди колючего кустарника, задыхаясь, бегал на ветру под шум прибоя по необозримым равнинам, как будто для того, чтобы ухватить... не знаю что, быть может, крыло ветра на кончиках листьев жимолости или утёсника, где кончаются впалые

тропинки, — этот запах внезапно и мучительно вошёл в меня — словно это было уже слишком... и я бросился на мох в диком порыве, с шумом прибоя в венах и с криком в сердце, чтобы высвободить этот излишек любви, и из меня словно вырвалась чайка и взлетела, чтобы продолжить свой полёт дальше, туда, к морю, где кончаются песчаные равнины, где больше простора...

Всё это было так хрупко, всё это было ничто и всё... то, что я привёз в своих трюмах из напрасного путешествия — запах, улыбку — единственные маяки в окружении бедствия, единственные секунды, когда я вздохнул полной грудью. Всё остальное было темнотой, всё остальное было ложью.

Мы шли к реке, глядя на белёсое солнце, плавающее в тумане, по четыре человека, с лопатой на плече, и я прижимал к себе это тепло, словно оно могло разбудить настоящее солнце, сильный ветер, доносящий запах жимолости и укропа, и развеять обманутую любовь. Я шёл, несчастный золотоискатель, в большом лесу памяти, шёл наощупь к сокровищу, скрытому в пелене лет...

И был ещё один такой же вечер, когда мы стояли на якоре в порту, на борту "Сюзанны", когда всё смолкло под дозором мирного маяка. Вибрировали только ликтрос рангоута да далёкие голоса на набережной, мерцали звёзды в небесной качке, и плеск зябкой воды о днище напоминал лёгкие-лёгкие руки, которые стремились разогнать тени и открыть внутри едва уловимую танцующую радость.

Я сжимал эту радость точно так же, когда мы спускались к реке среди свекольных полей, и напрягал свой слух для того, чтобы снова услышать дрожь ликтроса и лёгких рук, разгоняющих тени.

И тогда вспыхнула капелька света с привкусом подсолённой слезами любви. И тот же запах укропа дрожал, как робкая насмешка, радость трепетала в венах лаской счастливого острова с норд-вестом и бризами. Я уже не был рабом, опустошённым холодом, голодом и страхом, я готов был бросить вызов обманчивой тьме.

Я с усилием продвигался вперёд, словно желая схватить что-то вдаль от себя, но мне уже не нужны были знаки, а нужна была вещь, и я толкал свой старый корабль чтобы он смог, наконец, коснуться волны... быть может, там, на острове сокровищ?

И тогда что-то прорвалось.

Ах, фальшивая ночь! Фальшив и я, тот самый, что идёт в строю по четыре человека, с лопатой на плече! Я был оглушён счастьем, я хотел прикоснуться к вещам, взять чужие руки в свои, я воскрес из мёртвых. Ложный брат снаружи! Я был внутри, как лёгкая улыбка. Ложное солнце, ложное страдание! Во мне разгоралось пламя, чтобы сжечь все тени, возникал ветер, чтобы вымести прочь всю ложь.

Разве могло мне навредить оружие этих фальшивых людей и их крематории? Я был тем огнём, что сжигает огонь. Я был неуязвим и свободен, абсолютно свободен. Я был улыбкой и пламенем в глубине сердца. Я был ветром, который не стихает, ароматом буйной весны, я был пространством и песчаной равниной, я был криком чайки и плывущим в небе созвездием. Я был радостью и щебетанием ласточки, я был светом, преодолевающим темноту ночи, — островом света, заполненным белыми птицами.

Я дошел до реки, словно несомый дуновением, с улыбкой, которую посылала любовь.

— Грегори! Это открывается однажды в жизни, а потом превращается в жажду. Почему? Ну почему же?.. Возможно, я двадцать лет прожил для этой единственной минуты... и больше я ничего не вижу.

— Потому что смотришь наружу и носишься повсюду, как шальной! Как же ты можешь что-то увидеть?.. Если полиция упрячет тебя в тюрьму, она, пожалуй, окажет тебе услугу!

— Мы очень плотные, Грегори, плотные, как панцирь черепахи. Нас много, это создает экран. И мы забываем, забываем...

Я таскаю за собой разных людей — и это удручает — и каких-то животных. Я побывал на разных континентах, забирался

в самые разные шкуры. Я исповедовал разные религии, на берегах Нила я поклонялся Сехмёт, которая невероятно меня увлекла, и ничего не требовал от неё взамен. Надо пройти весь круг, Грегори, а он не имеет конца. Я набит хламом, который не в силах из себя вышвырнуть, — я любовник, аскет, неутомимый обжора, я негр, монгол, фараон, я причастник, отцеубийца, а иногда у меня вырастают крылья — настоящий карнавал — тут уж не до смеха.

Я хотел быть актёром, представь себе, это моё первое призвание. Всю зиму я посещал классы Дюллэна; он играл в театре Бланш или Клиши́, сейчас не помню. Я хотел сыграть все роли, понимаешь, одеть все костюмы, быстрее, быстрее, а потом сбросить всё в гардеробе! Кончилось тем, что я остался нагишом и посыпал себе голову пеплом, как святые в Индии. Тогда я пошёл воевать — в этом был свой смысл. Я жаждал попасть в "спецчасть" — столь велика была моя жажда разрушения, я готовился к поездке в Солём, и как раз В ЭТО ВРЕМЯ меня арестовало гестапо. Какое счастье!..

Мы без конца ходим по кругу.

В каждом из нас множество "я", которые вихрем кружатся в теле, внизу, вверху, повсюду, как безумные планеты вокруг таинственного солнца. Ты путешествуешь. Бесконечные путешествия от одной планеты к другой, из Индии в Кайенну, к чёрту на рога и не знаю уже куда, через жизни и жизни, от одного "я" к другому, к десяткам других, где одни более истинны, чем другие, более категоричны и вообще напоминают динозавров. И ты становишься непреложными истинами, неопровержимыми системами, разнообразными опытами, которые сталкиваются и пожирают друг друга и пожирают нас — свора враждующих братьев. Так где же истина, где она? Всякий раз кажется, что ты достиг абсолютной истины, истины неоспоримой, и ты становишься перед ней на колени, и все остальные химеры исчезают, как сон, а потом обнаруживаешь, что мечтал о чём-то другом, и отрицаешь её или забываешь. Истина сегодняшнего дня становится мечтой дня завтрашнего, и мы кружимся и кружимся, от одной планеты к другой — неутомимые скоморохи.

Этого круговорота не избежать, Григори, вот в чём ужас, ведь мы должны всё понять, мы не можем оставаться одним человеком, крохотной личинкой, искоркой света, капелькой истины...

Ничего невозможно понять, пока не поймёшь всё.

И потому продолжаешь идти, словно для того, чтобы израсходовать всё это множество "я", чтобы исчерпать все роли — бесконечный путь через бесчисленные "я", через замурованные сознания, которые вращаются вокруг своей оси. Проходят годы, а то и жизни, пока ты не впишешь, наконец, в себя одну крохотную капельку истины. И ночь, всё время ночь, постоянное возвращение смерти, ибо без нее мы то и дело повторяли бы то же самое, а ведь нам надо идти вперед, надо всё пережить, быть всем.

Но однажды, когда ты достигнешь предела, когда иссякнет твоя молитва и твоё замутнённое сознание утомит тебя, когда перестанешь понимать что-либо умом и обнаружишь, что ничего не достиг, когда, словно брошенный ребёнок, будешь звать на помощь, когда всё — и дрожащая пустота, и глаза — станут прозрачными потому, что ничего не видят, тогда что-то разрывается вдруг вдалеке, а может быть, совсем близко, и в одну секунду в солнечном луче вспыхивает обнажённый и сверкающий фонтан: всё оказывается взаимосвязанным. Ты коснулся центра, истинного вечного Я... я знаю, знаю, я был слеп, но однажды, достигнув предела усталости и страданий, обнаружил в тёмном панцире трещину, и вот — улыбка и свет! Я услышал, как радость запела на умирающей заре, которая, казалось, готова была занести снегом весь мир, и ещё и ещё, под ледником одиночества и ненависти — радость... словно память, возвращающаяся из глубины ночей, фантастическая память, где всё нанизано на одну нить, в одну огненную гирлянду: память обо всём, чем ты был, от чего отказался, кого уничтожил, кого любил, над чем в поте лица своего трудился в разных телах, болезненных и узловатых; и тогда ты всё поймешь, всё станет ясным, всё будет охвачено единой любовью.

Время умирает.

Тайная вечность — там, в молчании сердца, как остров света в прибое миров. Грегори, именно это я и ищу, то, что я уже видел.

Дождь продолжает лить. Эжени похрапывает на прилавке между своим мятным ликёром и "Монтань-Пелё". Грегори бросил гитару на скамью и, обхватив голову руками, смотрит перед собой. Скоро наступит рассвет — ещё одно загубленное Рождество.

— Ты рассуждаешь, как мистик.

— Никогда в жизни им не был.

— Они тоже говорят о вечности.

— Я не мистик, я антропоид, который не желает быть антропоидом, понимаешь, даже крещёным, а хочет стать сознательным, полностью сознательным. Вот и всё. Мне нечего делать с теми, кто молится "бедные-рыбаки-молитесь-за нас".

— Ты только что говорил о Солеме!

— Мне просто захотелось тишины. Что же касается сознания, то все знают только одно сознание — то, которое они исповедуют. А я — за другое, за то, которое завоёвывают.

Понимаешь, Грегори, нужно соединить то, что внутри, с тем, что снаружи, остров света с остальным миром, видение с действием, сознание с жизнью. И действовать в этом мире, а не в гималайских пещерах, не в монастыре и не в бухте, не в тех местах, где копошатся внутри и где нет ничего другого.

Нет, я не мистик, поскольку они не стремятся изменить жизнь, я искатель. Мир — этот поиск, его надо завершить.

— Завершить?

— Ты считаешь, что этот мир завершён?! Бакалейщик-мыслитель — триумф человечества! Мы ещё не закончили виток, Грегори.

Наш секрет — здесь, на этой земле, в этом теле, а не вверху. Я знаю: надо разорвать тёмную завесу и погрузиться в свет. Он здесь, однажды я его видел, и если мы не видим его постоянно,



то лишь потому, что наш инструмент для этого ещё не годится. Понадобились целые исторические эпохи для того, чтобы единственная мысль расцвела на стенах наших пещер, а ведь внутри нас их множество, они рассчитаны на тысячи и тысячи лет.

Ах, Грегори, я понял, что ночь, ненависть, зло лишь иллюзия наших глаз, заблуждение ума, что страдания — это ложь, ужасная ложь, что истина — это радость и она повсюду, что мы можем сбросить маску, которая приковала нас к ночи, к мёртвому королю в варварских подземельях, что уже родился светлый король. Пора, Грегори, пора; нужно залечить рану, оставленную в нас двадцатью веками веры в потусторонний мир и в распятие, уничтожить трещину, отделяющую человечество от Бога.

Тысячелетиями мы упорно предавали землю ради духа, а дух ради земли, но они — единое целое, как равнина и ветер, как улыбка и губы. Я знаю, знаю, надо излечиться от неба, поверить в своё тело, поскольку оно заключает в себе вечную радость, в землю, где созревает чудо света. Пора полюбить её нивы и вымолить её радость.

Разгадка — в сознании. Необходимо изменить сознание.

Горящие кончики фитилей дрожат в бараке; скоро они погаснут. Очень похоже на алтарь — между золотом тростниковой водки и антильскими олеографиями. Возможно, убегая, Бог спрятался здесь под прикрытием креолки с золотыми кольцами? Я тоже здесь, ещё один негр!

Необходимо всё время жить словно в молитве, необходимо иметь такую потребность, которая родила бы нового человека, человека радостного и ясновидящего, подобно тому как жажда Колумба, на стрингерах его галеона, родила Новый свет.

Вера — наша единственная магия.

Желание — наша единственная власть.

Я слушаю. Я иступлённо вслушиваюсь в дождь, в тиканье ходиков, вслепую путешествую в чреве дождя. Я слушаю так напряжённо, что превратился в сплошное молчание, в предель-

ное молчание, за пределами которого во мне что-то должно взорваться. Что-то должно произойти, нужно, чтобы оно произошло, оно уже здесь, почти здесь. Я слушаю, затаив дыхание, как Крэббот слушал свою сумасшедшую креолку, боюсь спугнуть. Оно вибрирует вокруг... необходимо всё оборвать — дыхание и все контакты, чтобы подключиться к нему, не нужно ничего, кроме него...

Грегори тоже что-то почувствовал. Он сидит неподвижно с широко открытыми глазами. Я невероятно измотан, удивительно, что я еще жив, во мне осталась одна душа, готовая воспринять не знаю какой вопль.

Господи, Господи!..

Какой-то голос во мне вызывает помимо меня.

Боже!..

Но какой ещё Бог, если храмы пусты и боги мертвы?

Незнакомый Бог, рождающийся Бог... Уже многие тысячелетия мы пребываем в земном иле, несчастные, разобщённые. Без передышки идём от одного существования к другому, угнетаемые многочисленными тиранами, обожаемые не единственным богом, страдающие не в единственном лагере. Мы постоянно надеемся на безусловное преображение, на землю Ханаанскую, на мир человеческого братства. Наши боги поистёрлись, словно песок от морского ветра, но мы всё равно связаны друг с другом, как море и песок.

Господи, Господи, ты не тот далёкий и недостижимый Бог, не тот, что вечно распят. Твоя земля не проклята. Твоя земля вовсе не приманка, не тюрьма, из которой хочется бежать в потусторонний мир, в пустой рай, откуда мы возрождаемся снова и снова, волна за волной.

Господи, тело вовсе не проклято, сердце имеет другие ритмы, люди величественнее, чем нам кажется. Господи, в глубине нашей ночи, в преддверии мрачного атомного апокалипсиса, неужели ты оставишь нас одних, не пробудившихся, как скалу среди необъятного моря, готовую себя уничтожить?

Господи, мы столько прошли после древней ночи, но наш путь не кончается на этой светотени, на слепом разуме, который разделяет и вносит раздор, на бессильном сердце, годном только для слёз и стонаний. Богоявление было обещано земле, тело имеет твой отблеск, тело предназначено для того, чтобы стать одеянием твоего света, как море предназначено для зари, повсюду разливающей радость единого Солнца.

Господи, Господи, мы такие неуклюжие с нашими руками, сердцем, головой, но, несмотря на это, наша любовь стремится стать необъятной, как вселенная. Мы хотим удержать вечность в своих руках, свет в своём взгляде. Господи...

Господи, ты вовсе нам не чужой. Ты — это мы сами, ты скрываешься сам в себе. Твой блеск — здесь, на земле, в теле, об этом свидетельствует наша величайшая мечта. Господи, мы столько прошли, мы ждём тебя тысячи и тысячи лет, мы устали от наших стен, мы погибаем от наших знаний, так ничего и не узнав. Ах! пусть люди снова соединятся с морем, пусть небо соединится с землёй, как чайка с волной. Пусть всё прояснится, Господи!

Что-то шевельнулось во мне, где-то очень далеко, на другом берегу. Я чётко это улавливаю. Но какой зов? Какой ответ?.. Всё время чего-то не хватает.

— Тебя ищут!

Абсурд, но сердце у меня сжимается, словно за мной по пятам гонится гестапо.

— Там, за окном.

Он прижался носом к оконному стеклу. Два пылающих глаза — Росс! Искатель розового дерева... и тут же исчез. Одним прыжком я оказался у двери.

— Росс!

Он не отвечает... Шагает под дождём. Руки в карманах, идёт один по набережной, неуклюжая спина согнулась, словно под тяжестью.

— Росс!

Он не ответит, я знаю. Он тоже идёт неизвестно куда, скрывает в себе свою тайну. Бухта струится вокруг своими водами, тенями, терпким запахом пресыщенной земли и гнилых водорослей.

— Кто там?

— Да так, приятель...

Грегори кладёт мне руку на плечо. Вместе мы наблюдаем за дождём, за этой тяжёлой тенью, которая где-то там исчезает. Склонившаяся мачта "Святого Людовика" напоминает останки корабля, затонувшего после того, как он прошёл в ночных глубинах двадцать тысяч лье.

— Если бы ты знал, Иов, как мы одиноки!..

Я молча слушаю, что он мне скажет. Слушаю, как под дождём надвигается катастрофа, печать которой лежит на всех лицах. Моё сердце сжимается в комок, как дитя в утробе матери, как две руки в порыве страдания. — "Большая голубая яхта, слышишь, Иов, с белоснежными парусами..." — и самолёт Венсана взрывается в небе. Крэббот, Росс и многие, многие другие — мы все знак чего-то, искатели приключений без приключений, идущие по волнам... Знак чего? Вымощенные пути рассыпают искры, проникают в глубь ночи, в глубь развёрнутого времени, где мы бьёмся над решением задачи, мы, носители великой тайны, которую не в силах разгадать.

Прислушайся, брат... не наша ли это одинокая и потерянная тень движется под дождём, словно тень ангела, который давно уже перестал стучать в двери и до зари бродит в поисках единственного среди обломков этого кораблекрушения света?

Нас слишком много — незаконнорождённых детей, креолов неба и ещё невозделанной земли. Наша родина ещё не родилась, наш род рассеян. Иерусалим мёртв, и мы, как Вечный жид, бродим по всему миру.

Что же нам остаётся? Мы не вхожи к этим хозяевам жизни, мы не вклиниваемся в их машину. Значит, оставаться здесь и ходить по кругу, как ослы на привязи?

Когда-то мы были крестonosцами, иоаннитами, паломниками, разбойниками на дорогах Китая — всё это я прожил, всё понял — мы были конквистадорами, хаотическим нагромождением вещей; я повсюду искал свои следы... этот мир закрыт. Этот мир завершён, он весь нанесён на карту, от Амазонки до Эвереста. Искать приключений нужно в другом месте!

Нам ничего не остаётся, кроме фальшивок, называемых революциями, да возможности бессмысленно умереть с какими-нибудь покинутыми Богом чёрными собратями во имя протеста против порядка, который нас убивает... Мы — последние сыновья Нуньеса де Бальбоа без Тихого океана, последние катары, созревшие для мирской инквизиции. Мы живём в эпоху инквизиций и концлагерей, нам нет в ней места. Мы не входим ни в какие рамки — нас хотят обстругать, мы — бесполезные дощечки, пригодные разве что для костра.

О, я знаю их наизусть — и здесь, и в любом другом месте, на всех дорогах, на всех абсурдных дорогах, я знаю этих белых ворон, бунтарей против всего, против себя, бродяг, которым нигде нет места. Чего же мы ждём?

Мы — свидетели, мы — скорбные архангелы рушащегося мира, дети новой расы, которая ещё не родилась, но уже вибрирует в нас, словно ветер, несущий в себе угрожающий вихрь и новые семена. Я не знаю, что мы хотим сказать, наш оракул скрыт за семью печатями, наши мечты смутны, знаки противоречивы. У нас нет ключа. Но мы стоим на новом пороге и стучим, стучим, подобно той лесной обезьяне, что захотела стать человеком. Мы теряем себя в бунте, в гордости жертв, в гипнозе отрицания, в опустошённости и грёзах. Но наш смысл вовсе не в том, чтобы стать жертвами или от всего бежать; он выше, чем бунт.

Наш смысл в том, чтобы стучать в ночь, как стучат дети, пока дверь не отворится.

## **ЧАСТЬ ВТОРАЯ**

— Где китаец Ван, ты не знаешь?

Маленький негритёнок молча смотрит на меня. У него на поясе деревянная сабля, во рту конец стебля сахарного тростника, длиной с него самого. Он жуёт его, демонстрируя свои великолепные зубы.

— Дашь десять франков?

Уже дюжина ребятишек, чёрных и креолов, вооружённых копьями и стрелами, окружает меня, издавая воинственные крики. Первый, не говоря ни слова, бросает на них пренебрежительный взгляд и с чувством собственного достоинства берёт меня за руку.

— Пойдём.

Солнце в три часа дня жадно высасывает влагу из размокших улочек. Влага белёсым паром покидает деревянные палисады, дымится на крышах, покрытых пальмовыми листьями, устремляется в низкое небо, что повисло над чёрным кварталом и вбирает в себя умопомрачительные запахи тухлой рыбы и ванили.

Ван — мой последний шанс.

Дети затерялись в пёстром узоре улочек и внутренних двориков, неотличимых друг от друга, с кучами пустых ракушек и сохнувшим бельём.

Меня увлекает за собой маленькая, горячая и энергичная рука ребёнка. Я здесь не полностью, но мой механизм давно заведён, он продолжает работать, толкая меня вперёд. Я двигаюсь по инерции.

Нужно встряхнуть себя, иначе я упусти Вану, как упустил уже директора Управления рудниками. А "Пилигрим" — это моя свобода.

Ребёнок подбирает гальку и метко швыряет в рыжего пса, который с визгом убегает. Башмаки шлёпают по вязкой жиже. Свобода, свобода... я повторяю это слово как МАНТРУ, в ритме чавканья моих башмаков. Если очень сильно звать, что-то должно когда-нибудь отозваться! — есть такие слова, которыми надо заполнить себя до предела и тем самым заставить их как бы родиться.

Прямо возле нас вспорхнул сине-зелёный зимородок. Ах! я замер, я завис, словно обезьяна! Я жду сам не знаю чего... возможно, видения, возможно, взрыва жизни, которая внезапно разверзнет своё лоно, истекая чудесами.

— Здесь!

Гирлянда розового мха сбегает по бамбуковой решётке; коралловая лиана, как в Индии! Хижина стоит на высоких сваях и покрыта гофрированным железом. Ван — первый делец в бухте.

— Я от Крэббота.

Китаец вводит меня в пустую комнату, где на полу лежит циновка, несколько подушек оливкового цвета и стоит низенький столик. Вид у китайца такой же приветливый, как у решетчатого настила.

— У меня к вам записка от Крэббота.

Ван разворачивает её и читает. Затхлый запах сочится из-за перегорода и стискивает глотку. Мою сорочку можно уже выжидать.

— Садитесь, господин.

Ван улыбается и протягивает мне веер из пальмовых листьев.



— Значит, вы — тот самый белый золотоискатель...

Узенькие глазки не мигают, тысячи пальцев ощупывают меня и ищут возможности схватить.

— Я слышал о вас. И подумал, что мы обязательно встретимся. Как интересно, правда? Вы — друг господина Адвоката, а мы здесь для того, чтобы помогать друг другу, не так ли?

Ван говорит негромко, обмахиваясь веером. Двучичный, как сказал Крэббот, но для меня он постарается.

— Я весь к вашим услугам.

— Дело в том, что я нашёл золото...

Я по-дурацки гляжу на его жирную грудь, на которой каплями выступает пот. Ван сидит, откинувшись назад и уперев локоть в подушку.

— Не знаю точно, сколько, но ЖИЛА мощная. Я ещё не начал разработку, мой товарищ умер там, в горах... Потом дожди. Я думаю вернуться туда в сухой сезон.

На какую-то секунду я увидел улыбку Венсана, наполненную птичьим гомоном Базальтовую бухту, чистую воду под корнями мариакуго — прекрасная голубая яхта, да, Иов... — всё это перед желтокожим созданием, которое вежливо кивает головой.

— Вы можете купить у меня жилу?.. Но мне нужен аванс — закупить снаряжение.

Ван бросает на меня беглый взгляд.

— За половину цены.

— Что?

— Я предлагаю вам 50% официального курса.

— Но это же воровство!

— Ну, зачем такие слова?.. Все воруют, дорогой господин. Почему бы вам не пойти к моему уважаемому коллеге, господину директору Управления рудниками?

— Знаете, почём ваши торговцы продают литр масла в горах?.. за грамм золота, вы слышите, за один грамм! А сколько надо попотеть, чтобы его добыть...

— Но, уважаемый господин, вам, вероятно, нравится потеть. У меня тоже немало такого, от чего приходится потеть.

Похоже, Ван просто развлекается, спрятавшись под маской прогорклого масла.

— В принципе, вы — игрок, я — тоже. У вас свой риск, у меня свой... Интересна во всём одна только игра. Все играют, уважаемый господин, все, кроме тех, кто уже там — там их одолевает скука.

Ван смотрит на меня с явной симпатией. Мне нечего сказать. Я целиком в его власти.

— Разумеется, я дам вам аванс, а кроме того — снабженца.

— Чтобы он всадил мне мачете в спину? И чтобы я стал пищей для аймар?

— О-ля-ля! Какие речи! Вы — ведь друг Крэббота, не так ли?..

Ван наклоняется ко мне с расплывшимся в улыбке лицом.

— Короче говоря, вы отказываетесь от снабженца... За авансом можете прийти перед самым отъездом. Что касается доли, то будем считать вопрос решённым. Я сообщу вам о тех мерах предосторожности, которые необходимо принять, — воров вокруг, как вы понимаете, достаточно.

Я вышел. Кровь клокотала у меня в висках.

Две женщины, нагруженные рыбой, топчутся возле меня, перекатывая под тканью необъятные бёдра. Всё смутно прокручивается в моей голове, и я чувствую внезапную усталость, как будто только что сверхчеловеческое усилие вернуло меня к реальности. Лицо стало липким.

На углу улочки я остановился. Десяток ребятишек, сложив руки на коленях, зачарованно сидели на корточках вокруг торговца бумажными змеями, а тот что-то рассказывал, широкими жестами указывая на горизонт. Бумажные змеи на длинной палке, розовые, зелёные, фиолетовые, и несколько золотистых самолётиков неподвижно висели в густом воздухе. На его запястье виднелся рожок. Изрезанное глубокими морщинами лицо торговца напоминало маску из Конго; его пламенный взгляд видел, казалось, что-то там, вдали. Очарованные дети следили серьёзными, широко открытыми глазами за его жестами, уводящими к горизонту, поверх дымящих крыш и верхушек деревьев, как будто увидели там какой-то странный, медленно приближающийся корабль, а то и чёрного принца с изумрудным караваном.

Я вспомнил, как у ворот Кандагара в толпе ребятишек целое утро слушал старого афганского певца, который славил розовые пески и сиреневые колючки пустыни на древнем, трёхструнном инструменте, и его всевидящие глаза излучали свет.

Я устремился по соседней улочке, оставив позади старого негра с горсткой детей, бумажными змеями и медным рожком.

Ван — человек, конечно, симпатичный, но прохвост. Тем не менее, путь свободен: через полгода — бухта Трезор. Пятьдесят процентов, какая, в конце концов, разница? "Пилигрим" спасён. Полгода...

Огромные стрекозы, опоясанные синими кольцами, рывками выныривают из дымки, напоминая о реальности. Вода плещется о выдолбленный, покрытый шлаком латерит. Закудахтала курица. Я двинулся по чёрным и гудящим извилинам улочек, преследуемый звуком рожка, который словно призывал меня уехать, и упрямым детством, которое снова и снова стучало в мою дверь.

Внезапно я вспомнил недавний сон. В последнее время мне снятся странные сны: кто-то торопится что-то сказать, а я не понимаю, ничего не понимаю. Эта могила... Нет, всё понимаю, только не умом, а чувством. Всё понимаю, но здесь, снаружи, я отрезан, как утративший память, который пытается что-то

вспомнить, а всплывают только бессвязные нити и какие-то тревожные символы. Необходимо полностью себя восстановить!

Долгий мучительный спуск в могилу, возможно, это моя могила. Я очень отчётливо вижу вход, сверху вниз, как в подземных ходах Луксора, под огромной жёлтой, обваливающейся площадкой узкий прямоугольный вход, по которому я с большим трудом пробираюсь. Кажется, мне что-то надо в этой могиле найти.

Полная темнота. Иду наощупь. Странное ощущение: я нахожу следы многочисленных умерших, которые все оказываются одним человеком. Остатки позолоченных драгоценностей светятся в темноте — украшения, цепочки, какой-то вычурный талисман: эти ценности наполняют меня необъяснимым чувством, будто они мне очень близки... останки одного тела, в которое слились остальные тела.

И вдруг я всё понимаю. Единственный мертвец, что-то ищущий в своей собственной могиле, ЭТО Я САМ.

С трудом, очень медленно я поднимаюсь наверх. Я невероятно тяжёлый. Тело свинцовое. На мне какой-то плащ, который стесняет мои движения. Наконец я выбираюсь наружу и к своему разочарованию оказываюсь в необъятном пространстве. Насколько хватает глаз вокруг жёлтые сыпучие земли, стремящиеся меня поглотить. До всей глубины моего существа я охвачен жгучим чувством одиночества. Один — я всегда один — но это... одиночество невероятное, оголённое, растрескавшееся повсюду, как стена приюта. Ах! эти рытвины сейчас меня поглотят! и я зову, зову на помощь. Потом смолкаю. Всё бесполезно. Можно звать целую вечность: здесь никого нет.

И я иду дальше по жёлтой корке, которая трещит под моими ногами. Я тяжёлый, тяжёлый, как тысячелетия. Всё необъятно голо, всё испещрено трещинами.

Внезапно я переношусь в родительский дом, но в какой-то странный, мне незнакомый. В доме моя мать и три сестры: Анна, Сесиль и Маргарита. Они сразу меня узнают и ничуть не удивлены моему приходу. Но я узнаю их с большим трудом. Приходится вплотную подойти к Сесиль и долго смотреть ей в

лицо, настолько всё смутно. И тогда, помимо моей воли, откуда-то из глубины вырывается пронзительный крик, который будит меня: "Вы все — как тени, как тени!"

Улочка вывела меня прямо к "Святому Людовику". На набережную переброшен трап. Шумные, смеющиеся бразильцы грузят ящики, пахнущие ванилью и перцем мешки, бочки с солёной треской. Скрипит перлинь. На палубе чинят парус.

"Святой Людовик", Сальвадор. Человек в соломенной шляпе маркирует грузы. Дети играют на палубе в прятки.

Два таможенника, рассеянные и удручённые, отгоняют мух, которые роятся над кофе. Женщины бродят с корзинами папайи. Шум обволакивает меня тёплыми волнами, как прибой. Словно сухой бамбук, разбросанный в разные стороны, со смутной каплей моего "я", я стою на краю трюма, откуда струится густой запах ванили; другая часть моего "я" — на залатанном фоке, на этой руке, скользящей по валу брашпиля, на ярком платье креолки. Я взгромоздился на скрипящий рангоут, я скольжу с приглушённым шумом ящиков на дно трюма, под рокот ругательств и смеха, под жужжание мух, которые проникают повсюду.

Чёрная вода бухты раскачивает соломенную пробку, спелый апельсин...

"Святой Людовик"? Но это ничего не раскрывает у меня внутри, там только зов, дыра. Это слово ничего к себе не притягивает, кроме жужжания липких мух в ванильной испарине. Вокруг меня, во мне самом, в этой оглушённой пустоте вещи стремятся пробиться и давят на мою оболочку, замкнутую на три оборота!

О, я пребываю и в других местах — наверху, внизу, внутри, они зовут меня, подают знаки, стучат, призывают к себе. Я борюсь с волнами на нескольких палубах одновременно — никакой связи. И даже не знаю, верен ли путь, которым идёт мой корабль! Я лежу в дрейфе в бухте, как старая драга, в шкуре Иова, но это не то, совершенно не то. Я не здесь, я не здесь.

Конечно, я взял курс на "Пилигрим", туда, за четыреста километров поваленного леса и болотных зарослей, через полгода, не раньше. И "Пилигрим" будет, будет, чёрт побери! Но все другие, там, внутри, разноцветные "Пилигримчики" тоже имеют свои идеи, то и дело происходят разные вещи, и я не узнаю в них себя, желанные, призываемые всем этим упрямым и несогласованным экипажем, моим разноцветным экипажем, напоминающим полинезийский тотем, который напряжённо трудится сзади, снизу, сверху, внутри, и когда это приходит, возникает чувство близости, судьбы: происходит щелчок. "Святой Людовик"... никакой связи.

Мы слепы и глухи, как пробка, даже перед теми знаками, которые сами же вызвали. Мы ничего не знаем, абсолютно ничего.

— Хочешь папайю?

— Нет.

— Хочешь пойти со мной?

— Нет.

— У тебя что, нет денег?

— Я — Иов. Оставьте меня в покое!

Как всё ясно и неопровержимо: Ван и Крэббот, Венсан и Григори — всё, всё взаимосвязано! Если бы ухватить нить... какое удивительное, какое вечное чудо! Всё взаимосвязано, всё взаимосвязано... Нужно только понять язык.

Как мы ко всему невнимательны!

Необходимо поймать ту нить, что соединяет все эти вещи. Мы ничего не видим, всё происходит с нами как бы случайно, как с пьяницами, пусть с выдающимися пьяницами. Мы даже похожи на Почётный Легион, разве что скованный в своих действиях.

"Пилигрим", я хотел тебя с такой силой, и ты будешь, ты уже почти здесь, осталось всего полгода. Но чего хотят пираты, которые стоят за всем этим?

"Святой Людовик"... но я схожу с рельсов, я, выражаясь их языком, формулирую понятия. Возможно, это и есть жизнь: формулировать более или менее чёткие понятия, которые вырастают в землю — и всё меняют. Понятия, способные всё изменить.

Нужно думать выше, не в трюмах, не на палубе, а на фок-мачтах больших рыболовных судов.

— Хочешь папайю?

— Оставь меня в покое!

Она даже не симпатична!

Я хожу вокруг этой посуды кругами, как муха вокруг сахара. Абсурд! Но мне нужна вода — мне необходимо подняться на борт — вода вокруг, вода подо мной, скользящий шум, трепет, который превращает вас в тысячу бликов, и вы растекаетесь по всей её шири. Мне нужна вода, как нужно дыхание. Возможно, мне суждено утонуть.

И вновь это навязчивое ощущение, что я стою перед дверью, которая вот-вот откроется — и тогда тайна исчезнет. Мир станет светлым, прозрачным, каждая вещь окажется на своём месте. Открытая жизнь!

Это где-то здесь, рядом, а я не взлетаю... остаюсь привязанным к своему панцирю. Но он трещит, трещит по всем швам!

— Хочешь папайю?

— Пошла прочь!

Должно быть, я заорал, как одержимый. Она убежала, перепугавшись, с корзиной в руке.

Ударил колокол, призывая на вечерню; раскачивающаяся бронза врезается в мякоть дня, касается пальмовых листьев. Все зовёт! Если бы я мог скользить с тем, что меня тянет, свободно струиться до самого края моей пробоины, а там, наконец, прыгнуть — канатоходец, отбросивший свой канат!

Я повернул машинально в город, лаская в мыслях свой "Пилигрим"; запах ванили и рыбы потянулся за мной следом. Теперь я знал, что "Пилигрим" будет, и это было прекрасно. Но вся эта сила, которую я обнаружил в гроте, уже в течение года шарит вокруг меня — вероятно, она хочет свалить другие стены, возможно, где-то есть другой парус. Это меня и мучит.

Полгода... Полгода топтать эти улочки.

Тревога бродит вокруг меня. Она притаилась сзади, такая же реальная, как запах фруктов, готовая возникнуть при малейшем знаке, стоит мне только сунуть нос куда не следует. Я втягиваю плечи и спиной чувствую, как она нащупывает путь. Достаточно пустяка, отголоска мысли, даже шага, любопытного взгляда, — войдёт в меня молниеносно, как струя, пущенная каракатицей, и я ничего не смогу сделать. Я втягиваю плечи и сжимаю кулаки в карманах. Потом, уцепившись за краешек гранита в глубине, повисаю там, внутри, как в испанском галеоне. И говорю: нет!

Одно и то же, одно и то же! Время вытягивается, вытягивается, и вот уже звездообразно расплзается еле заметная трещина — чёрная расселина.

Именно тогда всё и началось. Я вижу происходящее так, словно это было вчера, вижу семиклассника из парижского лица Бюффён. Он подает мне знак в Кайенне. Как-то, в пять часов вечера, я возвращался после уроков домой... Четыре раза в день я проходил по бульвару Пастёра и улице Лекурб в потоке машин и спешащих людей. И каждый раз — одна и та же аптека с хрустальными шарами, жёлтым и сиреневым, один и тот же продавец сыра, домашняя птица, подвешенная, как лук, на мраморе мясной лавки, стук по доске для рубки мяса. Вот здесь, перед мясной лавкой, и началось моё недомогание. Слышались крики зеленщиков, чуть дальше меня ожидала огромная ортопедическая нога. И вдруг я почувствовал, что опустошаюсь, теряю себя, и что-то во мне стало подниматься изнутри, словно это не я, а кто-то другой.

Я побежал к скверу, рядом с которым мы жили. Недомогание продолжало нарастать, а когда я оказался у бересклета возле



здания, окружённого чёрной решёткой из кованого железа, оно стало похожим на головокружение. Я вижу это так отчётливо! Я остановился перед бересклетом, моё сердце бешено колотилось. Взялся рукой за холодную решётку. Мне предстояло обогнуть угол сквера, открыть лязгающую дверь лифта, створки которой захлопнутся одна за другой, подняться на седьмой этаж, створки хлопнут ещё раз, позвонить, открыть ещё одну дверь, пройти по коридору с застеклёнными дверьми, швейная машина Зингер, китайская ваза, наконец, комната с огромным ободраным шкафом из красного дерева... кошмарное головокружение от этой массы вещей, которые набрасываются на меня по четыре раза в день; сейчас это произойдёт, через тридцать секунд, через двадцать, лифт, двери, — десять секунд, пять секунд... и, закрыв глаза, я изо всех сил уцепился за решётку, чтобы устоять перед фантастическим напором вещей.

Назавтра то же самое — каждый день, каждый день — кишашие дни, собранные вдруг вместе: мгновение. То мгновение, за которое я успеваю разве что проглотить слюну. Вся жизнь перед глазами, разложенная, насколько хватает взгляда, как неизбежная улица Лекурб среди сиреневых аптек и сыров. Ах! Я всего лишь крошечная точка в чудовищном нагромождении асфальта и зданий! Ничтожный школьник, готовый расколоться, словно сухой орех.

Тогда я помчался со всех ног, как растерянное животное, ворвался в лифт и ринулся наверх, чтобы влиться в шумиху своих братьев и сестёр, в тёплую и добрую возню, что смыкает руки над чернотой... Я сражался с собой, как с бандой грабителей.

Удары соборного колокола сменились колокольным перезвоном больницы Сен-Поль. Продавец содовой везёт свои тёплые напитки и термосы по разбитой мостовой. Он толкает тележку, едва касаясь её рукой, втянув голову в плечи, не произнося ни слова. Ястребы кружат над деревянным балконом, над которым нависла капуста пальма.

Д-Р ЖОАН КОРВАЛО  
Дантист  
Консул Бразилии  
Второй этаж

Дверь открыта. Я пулей взлетаю по лестнице.

— Консул принимает?

— Вы торопитесь?

— Да.

— Подождите немного, он занят.

Служанка, подавляя зевоту, впускает меня в тёмный салон и задвигает за мной ярко раскрашенную ширму, на которой танцуют фисташковые негритянки.

Я один, удивлённый тем, что нахожусь здесь. Тепловатая, чуть затхлая тишина витает в полутьме, смешанная с запахом старых газет. В коридоре валяются чьи-то стоптанные башмаки. Под хрустальным колпаком часы показывают полдень, а может, и полночь.

Придётся ждать несколько часов... Но мне консул нужен немедленно! Сейчас же уехать. Впрочем, я — идиот, он ни за что не даст мне визу просто так, как дают земляные орешки. Необходимо создать определённые трудности — таков принцип... Я попрошу у него туристскую визу. Нет, у меня заканчивается контракт с Управлением рудниками, я хочу съездить в отпуск в Бразилию, в Сальвадор — вполне естественно и просто, как "бонжур"... Нет, я журналист, независимый журналист, возвращаюсь во Францию через Бразилию.

Календарь "Пан эр де Бразиль" висит в углу над сервантом, на котором извивается деревянная гремучая змея. Тринидад — Кайенна — Белен — Рио-де-Жанейро. Тонкие красные линии запросто пересекают моря и континенты. Рио-де-Жанейро — Дакар — Тунис — Каир... и готово!

Повсюду авиакомпании, морские и железнодорожные пути, а я сижу здесь, пригвождённый, как во времена галер и дилижансов!

Что касается меня, то я бретонец и индус, вполне сносный китаец с долей негра и вкраплением лопаря, а они выжимают из меня сок из-за дурацкого французского паспорта!

Виза в Бразилию — абсурд. Мой паспорт до треска напичкан теми визами, какие мне только потребуются. Мне дозволено уехать немедленно, неважно когда и куда, к чёрту на рога или в Патагонию, если мне это захочется, пора поставить на этом точку.

Карвало поинтересуется "мотивом поездки". Если я скажу ему: "Свобода" — он примет меня за сумасшедшего.

Ждать полгода, цепляться за этот "Пилигрим"... Я могу, конечно, попросить визу, неплохо иметь её на тот случай, если... Вот именно. "На тот случай, если" они не поймут. В том-то и дело.

Я оторвался от календаря. Свет просачивался сквозь закрытые ставни и вырисовывал пенные реки на цветном макете. Здесь душно... Внезапный грохот, словно бортовой залп, заставил меня отскочить назад, как будто я собирался вышибить ставни. Разъярённый попугай, скрестив лапы, уцепился за карниз и болтался передо мной, перекатывая в своем горле целый кабестан.

Сидеть и ждать.

"Фигарó Литтерэр" трехмесячной давности, "Трибуна де Импрёнса де Рио", американские гёрлс цвета свежей ветчины. В конце коридора на мраморном столике поблёскивают маленькие скребки дантиста.

Впрочем, не я в зале ожидания, а зал ожидания во мне — со множеством мелких шумов, пронизывающих меня так, словно меня здесь нет. Леглоэк — конечная станция. Зал ожидания, в глубине — приглушённый шум рычагов, тающий пар, свистки, сигналы к отправлению поезда мечты — всегда одного и того же, кажется, он отбывает. А я — зал ожидания, который остаётся, с гладкими скамейками, по которым скользят многочислен-

ные ягодицы, и с часами на стене, которые безостановочно вращают по циферблату свои стрелки. Поезд отбывает не то в 17, не то в 22 часа с точными минутами. Мои пассажиры всегда торопятся; они разъезжаются в разные стороны, а меня оставляют в незавершённом виде, зал ожидания, который никуда не уезжает.

Моя стрелка вращается и вращается в поисках нужного часа. Я переполнен мыслями, которые подкатывают ко мне к двум часам ночи в запахе шлака и тающего пара. Что касается меня, то мне никак не ухватить истинные 17 или 22 часа, возможно, это 17, которое само в силах поймать свой час. Слышны выкрики, оповещающие о тёплой содовой, о термосах или требующие внимания, чтобы... но в принципе никогда ничего не происходит.

— Извините, извините, проснитесь... *Que calour, Nossa Senhora!*<sup>1</sup>

Передо мной колыхается живот, покрытый белым халатом. Над ним седая борода.

— Вы по зубным делам или консульским?

Он увлекает меня на порог своего кабинета.

— Слушаю вас.

— Я хотел бы уехать.

— А-а-а. И куда же?

— В Сальвадор.

— А что вы там собираетесь делать?

— Хм... туризм. Возвращаюсь во Францию, я журналист, независимый журналист, и я...

Консул скептически пожимает плечами. Он стоит в нерешительности возле двери и рассматривает меня со всех сторон, как витрину.

---

<sup>1</sup> Какая жара, Пресвятая Богородица! (*португ.*)

Да, я не побрился. Вчерашний дождь спиралью закрутил мои брюки. Я краснею, как дурак.

— Всего на три месяца. Временно.

Консул ныряет в глубину комнаты и возвращается с какими-то листками.

— Заполните в трёх экземплярах.

Не успел я сказать "у-уф", как он уже скрылся в кабинете. Я ухожу со своими листками. На фоне нежно-розовых обоев цветёт невероятно красивая юкка.

— 45 крузейро... восемьсот франков.

Позади меня хлопает дверь. Я спускаюсь по лестнице, залитой ярким светом.

— Одну минутку! Как ваше имя?

— Мое?.. Леглоэк.

— Леглоэк, Леглоэк... подождите... Вам надо принести разрешение из полиции. Вы на учете... понимаете?

Трах! Дверь закрывается.

Я выхожу от Эжени с барабанным боем в голове. За мной следует Грегори. Их там около двадцати, английских негров из Барбадоса с визгливыми девицами. Крэббот сидит в своем углу мертвецки пьяный; перед ним пять стаканов, которые он по очереди наполняет и опустошает: "Всё надо делать быстро, понимаешь, быстро". Эжени не сводит с него глаз.

Полная луна появляется за чёрной линией мангровых деревьев, словно несомая молочной дымкой, в которую вливается пронизывающее её, как бурав, назойливое стрекотание насекомых, шёпот бухты, поблёскивание светлячков на телеграфных столбах, поскрипывание нетопырей, пролетающих, как дуновение ветерка. И повсюду этот запах, как при выпаривании чёрных рабочих халатов в интернатах. Делать быстро, быстро...

И мостовые, сверкающие мостовые, которые пахнут Бель-Илем и набережной Турнэля, Бомбеем, бесчисленными и похожими портами, бесконечностью ночей, где люди бродят, влекомые одной и той же тенью.

— С меня хватит, enough<sup>1</sup>.

Грегори стучит каблуком, словно Кайенна исчезнет сейчас, как в сказке, под нашими ногами. Он стучит каблуком, но мы остаёмся на прежнем месте. Мостовые, бесконечные и напоминающие

---

<sup>1</sup> Довольно (*англ.*)

друг друга, как биение нашей крови на протяжении долгих ночей. Делать быстро...

На углу улочки видны смутные очертания копошащейся группки, игральные кости раскатываются в разные стороны. Под керосиновой лампой выпрямляется ведущий игру с плоскими скулами и искрящимися глазами, окаймлёнными золотыми ободками, — божество ацтеков, вставленное в оправу ночи. Лицо на уровне стола, маленькая девочка играет с неистовством. Она подталкивает серебряные монеты на тряпку, к клетчатому рисунку которой примешались чернильные пятна. Делать быстро, быстро...

— Довольно, ты понимаешь?

— Да.

— У тебя есть золото.

— Если хочешь, я тебе его отдам.

— Ты сумасшедший!

— Можешь сходить за ним, я отметил место. Найдёшь старую отметину. Она зарастает, но можно проследить по зарубкам махете — очень чёткий скошенный край, на высоте колена под свежими ветками.

— Что с тобой? А твоя яхта?

— Не знаю.

Под жёлтым потоком, льющимся из фонарей, мостовые вытягиваются и вытягиваются; бродят тени, скользят голые ноги, в золотом окаймлении дверей вырисовываются силуэты и зовущие руки. Ночь, тёплая, как живот.

— Я, лес... ну и что дальше? что делать?

Ритмичное эхо отдаётся вдаль, как звук тамтама. Набережные погружаются в разорванный золотой блеск чёрной воды, до самой макушки мангровых деревьев, где умирает луна.

— Оставаться здесь нельзя, иначе сгниёшь. Грегори яростно стучит каблуком, но никто ему не отвечает, кроме эха вдалеке да хлокота нашей крови под импульсом раздражённой лимфы.

— Надо бежать, ты слышишь, Иов?

— Да, слышу. Замолчи.

Что делать? Эти слова стучат в моей голове. Что делать? Неотступно, как сама жизнь. "Пилигрим", Бразилия, Кайенна... литания под ритм шагов вливается в затылок. Делать быстро, быстро...

У меня в кармане три бразильских формуляра, по-прежнему незаполненных. И Кайенна, Кайенна, как болезнь, ужасно похожая на жизнь. Кайенна, Бразилия, "Пилигрим"... Какая разница? я прекрасно могу жить в другом месте!

И прекрасно делать что-то другое.

Я вибрирую во всём этом, как зверь с проткнутым животом. Я мог опоздать на свой поезд, заниматься разведением горчицы или маленьких Леглоэков, какая разница?

Вот ещё одна волна, которая выплёвывает жизнь в воздух, а за ней тысячи других, которые тоже выплюнут тысячи жизней, — всё похоже, всё одно и то же. Ужасающий отказ. Убийство!

Со "Святого Людовика" доносится ритмичный стук. Он дрожит в воздухе с множеством насекомых и, сопротивляясь поглощению, упрямо вибрирует, как человеческое сердце. Что я здесь делаю?

Случайный золотоискатель. Случайный... Этой ночью при лунном свете в порту, похожем на все порты мира, я, как две капли воды, похож на все бродячие тени. Есть что-то, что нужно делать, чем быть, для чего мы предназначены, что является именно этим, а не чем-то другим. Не Кайенна и не Китай... так что же тогда? Если бы можно было знать!

Но есть только эта ночь, идущая своим чередом за тысячами других, которая соединяется с безразличием лун, и есть я, который не су-ще-ству-ет. Делать быстро, быстро...



— Пойдём.

Грегори берёт меня за руку. Трап спущен на пристань. Их шестеро, они сидят на корточках, с обнажёнными торсами, на палубе "Святого Людовика". Я карабкаюсь на борт и проскальзываю в угол позади них, прямо у люка трюма. Они меня заметили, но ничего не говорят. Всё удивительно неподвижно на борту этого судна, кроме двух человек, один из которых стучит по старой бочке для сельдей, а другой — по бидону для мазута. Звук полого железа чередуется с глухим, глубоким звуком дерева, как два волнующих зова, кругами расходящиеся в ночи.

Как неподвижны эти люди — базальтовые глыбы! У самого старшего на шее белая эпитрахиль, как змейка света. Он вынул из бочонка маракуйю и молча пьёт. Скатерть волн, почти твёрдая, объединяет этих людей, словно ритуал, — она замыкает круг на судне; я тоже охвачен его тишиной.

Стук наматывается и поднимается в спокойном опаловом свете, он тянет и тянет, и окутывает меня водой бухты, водой очень древней, которая плещется о мостовые и о бесконечные ночи, что бродят во мне и стучат, как путь, ведущий из глубины жизни, как вечное, всегда существующее движение. Он тянет и тянет, и я чувствую, как вздымается большая волна, огромная волна, которая приходит во сне и перекрывает всё, — вода навсегда, ласковая, лишённая памяти. Это идёт из глубины жизни, как ступеньки страдания, которое никогда не кончается, такая древняя жажда, что кажется самой жизнью, жизнью без конца, жизнью негра на все времена.

Итак, я с ними. Я смешался с испарениями ванили, которые поднимаются через решетчатый настил, с просачиванием заклёпок под моей рукой, сплавился с огромными кубами, плавающими вокруг меня, которые ощупывают и текут в дрейфующем запахе каменноугольной смолы и рассола; меня унесло со стуком ящика, с шёпотом моря, со скрежетом строп. Всё пропитано морем, всё приятно, как прикосновение рук во время сна. Я с ними, меня не отвергли в марше к забвению, такому древнему, что оно кажется самой жизнью, жизнью, которая возвращается, жизнью негра без единого слова.

Всё постепенно согласуется между рангоутом, натянутом в бледном свете поднимающейся луны, этими людьми и мной — нас склеивает одна и та же смола, как кровь, соединяет одно и то же ритмичное биение и вытягивает из нас, через стены, словно по очень давнему согласию, другие руки.

Я положил голову на канаты, глаза мои утонули в небе — старой цистерне, вода против воды. Облака скользят по реям, фалы полощутся на ветру, трещит перлинь. Скоро мы покинем вражеские земли, этот четвертичный период с его фальшивыми белыми.

И вот они начинают хлопать в ладоши.

Они хлопают и хлопают, и в глубине моего живота возникает какое-то шевеление, смутный импульс, как дрожь пробудившегося чёрного питона. Что-то вибрирует в боках корабля, в глубине живота под такой тяжёлой водой, что стираются века, исчезает всякая память и — покой, покой, без единого вздоха — будто для того, чтобы поглотить весь наш путь и весь груз. Дрожь течёт из теневых колец под нежный шёпот Мертвого моря и скользит через всё тело, чтобы присоединиться к монотонному там-таму и ко всей ночи. Она тянется из глубины веков, тянется бесконечно — чёрная эрозия в животе.

Один человек поднялся и начинает танцевать.

Он делает шаг, потом другой; его руки медленно скользят вдоль голого торса, он кружится, кружится, словно стремится вырвать себя из чёрного кольца. Его руки поднимаются, плечи блестят, ладони раскрываются, чтобы принять луну; он кружится, кружится. На палубе раскачиваются тела — чёрные цветы в чреве забвения; они словно хотят следовать за ходом луны, которая тянет их к зениту, присоединиться к плеску волн о борт корабля, к глухому движению крови, к необъятному приливу насекомых и запахов, тяжёлому, как старый Нил, способному утолить любую жажду.

Лёжа головой на канатах, я пропускаю по моему борту тени кораблей и их позолоченные таверны, облака, бесконечное море в нежных шелках; я — полость из чёрного дерева, негритянский

экипаж, древний негр, дерево, рея, днище корабля, лишённое возраста. А Грегори теревит меня и теревит. Ах! мы отходим, мы подняли якорь, мы уходим в открытое море под лунным парусом, мы плывём к берегам огромной чёрной Бразилии, где мы всё забудем.

И как шум самого моря, мой экипаж начинает петь.

*O rei preto esta chegando*  
*O rei preto chegou*  
*O rei preto esta chegando*  
*O rei preto chegou.<sup>1</sup>*

Они хлопают в ладони. Один кружится всё быстрее и быстрее с закрытыми глазами, словно наматывает лунную нить, — он наматывает её на очень древнюю звезду во впадине живота, которая сражается с другой, с ночью мира.

*O rei preto...*

Рука Грегори сжимает меня будто для того, чтобы вместе погрузиться в колодец забвения. Мы подхвачены единым дыханием, этой бухтой, этим кораблем, мы ныряем в нежную плоть чёрной воды, одно и то же биение крови, переполненной тенями, нас растворяет. Мы становимся безымянным морем в начале веков, освобождённые от человеческой тяжести, морем-матерью, чёрной кровью под потоком лун. Я окунаюсь в древний прилив, который наступает и отступает, погружаюсь в сон богов, скитаюсь по старым портам, плаваю среди нежных водорослей... Я — чёрный и умиротворённый под дрейфующими звёздами.

*O rei preto esta chegando*  
*Chegou!*  
*AQUI!*

Сюда!

---

<sup>1</sup> Чёрный король скоро придёт,  
Он идёт...(*португ.*)

При этом выкрике танцор замер с запрокинутой к луне головой и разведёнными руками. Мгновенно наступила тишина, и как пригвождённые застыли потные торсы, раскинутые руки, ударники со своими ящиками — все замерли в ночи, и на этом фоне неожиданно громко застрекотали насекомые. Только один человек с белой епитрахилью поднимает руку...

Да, это то самое. Они здесь. Они хотят войти! Вибрация. Неподвижная, как могила, в окружении чёрных молний.

Я борюсь, борюсь — электрический циклон в моём теле. Я опираюсь на руки — они пригвождены к палубе; я упираюсь изо всех сил, чтобы преодолеть свинцовый гипноз, в котором я растворился — о-о! дважды умирать. И прыгаю на трап.

Только не это! Моё сердце начинает колотиться, как сумасшедшее, словно я только что совершил воздушный пируэт — и впрямь пируэт!

— *Esta malouco.*<sup>1</sup>

Я стою на пристани неподвижно, насколько это возможно, и пытаюсь успокоиться — я инстинктивно прижимаюсь к своему сердцу, к другому сердцу в глубине. Только не это... но это в животе: тиски, что-то там колотится, вибрирует, поднимается и опускается, как спрут, что трепещет на песке. Только не это... только не смерть чёрного раба.

И я иду.

Я вновь обрёл тяжесть тела, свою человеческую тяжесть, которая ищет и не может найти, которая ничего не знает, и прежнее страдание тоже со мной — мучительный и упрямый случай. Как всё плохо!

Я всё шагаю и шагаю. Мостовые сверкают, всегда эти мостовые, начиная с тех ночей моих бед.

— А-а! Вот и ты!

Кажется, это сон. Это невозможно.

---

<sup>1</sup> Он сумасшедший (*португ.*)

— Я два дня тебя ищу.

Я делаю движение, чтобы оттолкнуть его.

— На этот раз не убежишь.

— Оставь меня в покое!

— Что ты здесь делаешь?

— Отстань от меня.

— Ты у меня заговоришь!

Миньяр хватается за руку. Я стою неподвижно. Меня охватывает чувство какой-то обречённости, напоминающей эти мостовые, тени, бараки под железными крышами, где торгуют любовью, ночь, задыхающуюся от насекомых. Я не шевелюсь. Я жду.

— Ты удрал. Почему?

У него дрожат губы. Руки тоже.

— Ты ведёшь себя так, как будто мы не существуем. Ты — провокатор...

Он вытирает рот тыльной стороной ладони. В его взгляде угадывается беспокойство с примесью ненависти.

— Ты оставил свой ящик и сбежал, почему?

— ...

— Ты боишься возвращаться... Отвечай же, мерзавец! Немедленно отвечай.

Он трясёт меня. Я чувствую его дыхание на своем лице.

— Ты хочешь ускользнуть, сделать всё втихаря, не так как все, господин Золотоискатель, господин Иов-одиночка...

Его лицо рядом с моим. Он разорвал ворот моей рубашки. Я чувствую, как во мне поднимается необъяснимая ненависть.

— Отвечай! Или объяснишь всё, или я всажу тебе в глотку кулак.

Пот течет меж его бровей, по плохо выбритой щеке, по ладоням. Я уже ушёл, я очень далеко, я приговорён, а здесь остался только мой портрет на стене — всё спокойно.

— Ты хочешь быть оригинальным, выпендриваешься! Так вот, уверяю тебя, ты дал маху...

В его голосе какое-то дикое ликование. Внезапно я возвращаюсь к жизни, мне становится страшно.

— Ты слышишь, неудачник? Сегодня приходили обыскивать твои пожитки. На тебя донесли твои приятели.

— Что?

— А-а, заговорил, тебе не терпится знать...

Такая ненависть в его взгляде, такая нечеловеческая и непонятная ненависть, что мне хочется закрыть глаза и бросить всё, чтобы ничего больше не видеть. Из моего тела словно ушло желание жить. Надо сбросить груз на этой набережной — я сдаюсь, радуйся.

— Ну ладно, я тебе скажу. Он всё рассказал, заложил тебя.

— Что сказал? Кто?

— Лопес.

Миньяр задыхается, от него пахнет коньяком. На его подбородке темнеет ямка.

— Стало известно, что ты нашёл сорок килограммов золота.

— Враньё!

— Ты хотел сплавить его в Джорджтаун через одного креола из бухты.

— Ложь. Он врёт.

— Тогда почему ты сбежал из больницы, если у тебя совесть чиста? Почему имеешь дело со всеми этими торгашами? Почему, если ты на мели, отказался от контракта?

— Оставь меня в покое.

— И почему твой приятель Венсан не вернулся? А? Почему ты замотал его документы?

— Отстань от меня.

— Ладно, я отпускаю тебя. Можешь идти, господин Золотоискатель. Но далеко ты не уйдёшь. Ты ведь из крысиной породы.

Миньяр резко отбрасывает мою руку.

И я шагаю снова.

Впереди длинная ночь, я ещё не закончил свою вахту. Все мостовые под луной — до самого конца моих мытарств.

Единственная вещь, которой я дорожу, за которую держусь. Единственная вещь, спасительный якорь.

Маленький, белый дом среди диких рододендронов. "И всё-таки придётся когда-нибудь взглянуть правде в глаза и сделать выбор". Сделать выбор... Вот и настал час. Я это чувствую: всё удивительно просто и потрясающе серьезно.

Я сажусь, свесив ноги, на парапет набережной и пытаюсь сосредоточиться, но никакого решения не приходит.

Ван, Миньяр, больница Сен-Поль, Крэббот, улочки с запахом ванили и рыбы, месяцы, затяжные, как рак, — всё это здесь, передо мной, как дыра, всё течет вместе с этой проклятой водой и хочет меня поглотить.

Я сижу, неподвижный, как бакен, прислонившись к холодному граниту, и смотрю на прожорливую воду, смотрю так, словно хочу рассечь её пополам, вспороть ей живот... Время навалилось на меня всей тяжестью, густое, огромное, безразличное... Кто-то будет здесь через полгода и через десять лет с другими Ванам и другими Крэбботами, которые будут похожи на этих, как две капли воды, но от меня не останется и следа, словно меня и не было. Ещё одна невыносимая минута, вся жизнь в одно мгновение промелькнула передо мной, и всё равно ничего не изменилось. Одно и то же в течение многих веков, плотное, как слой известняка. Всё давно уже прожито, остается только ПЕРЕМАЛЫВАТЬ ОДНО И ТО ЖЕ!

Я в глубине воронки, поглощающей меня: я напряжённый и тонкий, как стальная нить. Как острие меча, готовое вспороть огромное брюхо, которое меня засосало. Я сижу, изогнувшись аркбутаном у этой чёрной дыры, — я здесь, неопровержимый и смехотворный, наделённый невероятной силой и слабостью захлебнувшегося ребёнка. Я ЗДЕСЬ, вопреки тому, что сдавливает; я жду, опершись спиной о стену.

О Мать, Мать... вложи мне в руку оружие! дай меч, чтобы рассечь этот узел, чтобы всё изменить! На этот раз я не убегу. Необходимо всё изменить!

Я закрываю глаза, расположившись на холодных плитах набережной, как некогда в Индии в маленьком белом доме. Я опускаюсь и опускаюсь... Я сопротивляюсь натиску страдания — о-о! всё снова возвращается — сжав зубы, я с трудом продираюсь через **зоны**, через бесконечное Саргассово море, опутанный водорослями и туманами. Множество рук впивается в меня — многовековые руки с их жертвами, которые до сих пор живы и до сих пор содрогаются, — исхлётанный, влекомый свинцовыми веками... Чёрным мельничным жёрновом вращаюсь я в слепой Ассирии.

Необходимо всё изменить, это конец провала, нулевая минута. И я упорно опускаюсь. Разгребаю валежник, продвигаюсь, рублю. Разрубаю чёрные кольца, которые выплывают из глухой ночи, рассекаю тусклое колыхание, в котором трепещут кальмары, — ах! оно скользит, как рептилия в толще мёртвого Нила. Я рублю. Я продвигаюсь, не оглядываясь назад, и склоняюсь, до потери пульса склоняюсь перед тем, что пульсирует во мне, перед цветком, впечатанным в сердце, — я ползу вперёд по животу мира, по животу тысячелетий.

Я — мерцающая звезда, незаметная и упрямая, пришедшая издалека в глубине вод, прокладывающая себе путь сквозь потерянные племена, каменные века и бездонные лавы. Эта звезда противостоит могучему импульсу, который хочет овладеть мной, проглотить, сомкнуть надо мной чёрный венец. Я упорно преодолеваю его усилия, я опустошаю время и вытряхиваю прочь его внутренности.



Раскроется ли когда-нибудь это запечатанное сердце? освободится ли этот цветок света от ночи?

Я не выпускаю свою звезду, хрупкую, непоколебимую. Я рождён для того, чтобы поймать эту соломинку света. Я жив, жив!

Я жив, но не для этой губки ночи, не для Европы — чёрной рабыни, не для сомнительного белого. Я — сын Света и рождён для того, чтобы гореть! Эта темнота — фальшь, ядовитая фальшь, фальшь — ад и рай. Именно здесь, в теле, надо победить ад и возродить вечность. Здесь, сейчас, в этой бухте.

Сын огненного меча, я здесь для того, чтобы разрубить узел, чтобы скрутить шею чёрному Питону. Сын истинной любви, которая разрывает ночь, чтобы фонтаном брызнуло пламя. Сын лучезарной памяти, я срываю маску с клеветы.

— Вперёд. Сейчас.

А что ему терять? Что ему спасать? Скажите? Вся моя жизнь — для одной-единственной истинной вещи! Я ничего не вижу, абсолютно ничего, ни дня, ни часа, ни слова — ничего, кроме приближения, только подобия, только минуты просветления под Африкой древних руин.

Всё сжечь! Огромный костер радости. Всё бросить в пламя — прежние пустые "я", проклятое барахло, варварские украшения, впустую прожитые дни...

Терять нечего, всё уже потеряно, эта минута мертва, и мы ещё не родились.

Что же меня держит? Разве я не всё прожил? Ум перемалывает одно и то же, сердце надорвано, руки, повторяя одни и те же жесты, износились, на потускневших губах — тень любви, моя жизнь подобна нищенке. Разве я не нищий, выпрашивающий крохи, чтобы заглушить чувство голода? Так уже было в концлагере, когда я, как животное, плашмя рухнул на землю из-за пролитого супа. Больше я не хочу есть, не хочу! Я сыт по горло!

О Мать, Мать! Я ничего больше не знаю. С давних пор меня преследует ночь, одна и та же, без конца повторяющаяся ночь. Я на дне вод, я сотворён, как крыса. О Мать, держащая этот мир, я

кладу свое бремя к твоим ногам. Я ничего не знаю, только одно: я нуждаюсь в чём-то другом.

Внезапно что-то разжалось. Тиски ослабли, словно я прошёл сквозь слуховое окно. На какую-то долю секунды я увидел улыбку, за всем этим мелькнула ирония и нежность, как будто кто-то хотел танцевать: чего же ты ждёшь? Что у тебя за вид! Нет, это не улыбка, это игра света. И вот улыбка существует уже помимо меня и — паф-ф! Мглистое облако хандры исчезает в полосе света. Только что я был внизу, а теперь прошёл над своей головой! Едва уловимое движение вперед и вверх — и вот я чуть покачиваюсь, как будто отделяюсь от своих членов, чтобы раствориться в окружающей прозрачности.

Я отрываюсь.

Взлёт неопиcуемый — из моих костей выходят тысячелетия... исчезают стены... я прохожу сквозь мглу!

И медленно, очень медленно выхожу на простор. Я скольжу, но в другом пространстве, где вокруг плавают золотые пятна и сапфировые туманности... потом все останавливается.

Оледеневшая неподвижность. И тишина.

Эта тишина была не отсутствием шума, а золотистой полнотой, песней, которая ещё не спета, но уже здесь, собранная воедино, наполненная, мощная. Свет становился всё ярче. Я больше не был прежним "я". Я был снаружи, я был внутри. Вокруг больше ничего, все дороги кончились, тропы исчезли, карты потеряны. Никаких названий, никаких следов, никаких признаков — только белизна, дрожащая в тишине.

Мои шаги ещё слишком неуверенны, слишком тяжелы для взмывающей вверх белизны, для снежного взлёта, который не охватить взглядом; моё сердце бьётся слишком быстро и слишком сильно для тончайшего хрустала, который можно сломать. Я становлюсь маленьким, совсем маленьким, чтобы не спугнуть

эту необъятную трепещущую страну, великую страну белоснежных птиц, распластавших надо мной свои крылья.

Всё, что давило мне на сердце, отринуто, отброшено. Я превратился в трепет, в ожидание, в крик пробуждения, которому в предчувствии близкого перелёта хочется бить ключом. Эта едва заметная улыбка — как затаённая любовь. Я наклоняюсь всем своим телом для того, чтобы разбить хрустальную границу и полететь туда, в нежнейший птичий снег.

Я закрываю глаза, словно они слишком непроницаемы для этого быстро вибрирующего света, для прозрачного полёта, словно они не способны в него поверить. Я затаил дыхание и крохотными шажками продвигаюсь к стране, где никто не оставляет следов и где, тем не менее, я обнаруживаю самые разные знаки, в том числе крохотную вмятину на снегу, оставленную почти невесомым ребёнком. Шаг за шагом я продвигаюсь к огромной лучезарной белой стране, к ребёнку, что затерялся под крылом её снегов. Кажется, это он зовёт меня — бьётся в моем сердце и зовёт — и я иду к нему, исполненный нежности, у которой нет имени, которая обволакивает меня, которая улыбается. Эта улыбка всегда была со мной, этот простор, и нежность, и детство были моими с самой зари жизни.

Но я ещё слишком шумный, моё пламя слишком алое, я всё ещё далеко от снежной страны. Тогда я позволяю снегу, улыбке и свету нарастать во мне, я расстилаюсь, чтобы уснуть в этом море, расправляю в лагуне любви все свои складки и изгибы. Набегает какая-то рябь: мимолётные воспоминания о детстве в Лапландии, стадо белых северных оленей на берегу замёрзшего озера. Воспоминания отступают, всё смолкло. Моё дыхание цепляется за снег, сердце растворяется в любви. Я сам — ярко-белое ровное пламя, которое поднимается в свете. Оно такое тонкое, что почти не распространяется по сторонам, видна только ниточка, тончайшее горение, оно с трудом сохраняет своё "я" и образует крохотное уплотнение, настолько разреженное, что я, кажется, нахожусь повсюду, в нежнейшем, словно птичье горлышко, пространстве.

Там, в сердце, я — как спокойный и тёплый песчаный берег, чтобы были зимы над миром и ночи для людей, и просто так, ни для чего, для радости любить; кольцо любви-огня, которое удерживает круговорот вещей и, возможно, удерживает всё. Я — внутри, и я — снаружи, я проплыл над своей собственной головой, над пляжами и холмами, проплыл высоко в кристаллическом свете, словно на крыле белого птичьего перелёта, к тому запредельному, что сыплет снегом, к нерушимой заре, к вечной стране моего северного детства.

— Эй, что вы здесь делаете?

Надо мной склонился человек, подозрительно вглядывается в меня.

— Ну?

— Я?..

Таможенник! Какой смешной со своим протокольным носом!

— Да, вы!

И вдруг на меня напало неудержимое веселье.

— Занимаюсь контрабандой, разве не видите?

— А-а...

— Контрабандой птиц... редких птиц.

— Что вы плетёте?

— Золотых колибри.

Опять то же самое! Я свеж, как угорь, я плыву в светлой воде, словно впервые стал угрём и счастлив от того, что осознал это.

Я был стариком, и вот обновился. Долгие годы жил в гранитном одеянии, а теперь оно внезапно упало, и мне стало невероятно легко. На протяжении долгих египетских династий меня мучила жажда, и вдруг я превратился в воду, которая пьёт сама себя.

Всё, что было во мне от Иова, — лишь экран, свинцовая защита, отделявшая меня от мира, от всего того, что истинно, радостно и вольно, как северо-западный ветер.

Я был один, как дохлая крыса, и вот я любим! Да, да, любим. Я окутан улыбкой, всё подает мне знаки любви: крохотные знаки признательности — я их принимаю, и это является истинным. Мои руки протянулись невероятно далеко, тысячи моих пальцев с ликованием проходят сквозь вещи. Всё открыто! О-о! Я внутри вещей, я капля всего сущего.

И я люблю. Нет! Это не чувство, я люблю так, как дышат, всё так просто. Очень просто... Иов Ле-глоэк — вот то осложнение, которое всё запутывает, та ловушка, в которую постоянно попадаешь...ловишь свою тень, чёрт подери! Разве можно привязаться к тени? Как странно! Двадцать шесть лет я был привязан к своей тени, держался за тень, зачем? И вот я без неё, как вода в воде, огромная разница, уверяю вас.

О, как я благодарен, как благодарен! Радость одарила меня огромными крыльями, и я лечу, я скольжу, подняв все паруса. Мои глаза залиты таинственной влагой, я окутан светом!

За мной и надо мной голубоватая глубина, достаточно чуть-чуть отклониться, чтобы нырнуть туда — она несёт меня и обволакивает лёгкостью и ликованием. Я — сам простор. Всё окружающее меня настолько реально, что я могу к нему прикоснуться; высокое и просторное — хрустальный неф, где вибрируют золотые зёрна будущего.

Вот о чем надо рассказать, об этом неслыханном взлёте. Никто ничего не знает, ничего!

Трепещут тысячи истин, мельчайших, лёгких, как пузырьки, заполненных светлым знанием.

Я — плотная аквамариновая вода, сгусток уверенности. Я мудр, как азиатские храмы, заселённые птицами, и велик, как старый король у розовеющих пустынь. Я молод — золотое детство! Моя жизнь хрустально чиста, моя жизнь — сплошная улыбка, моя жизнь — звёздный иней! Вся поющая ширь открывается

под моими лёгкими руками. Я — фонтан, я светлый камешек на голубом дне водоёма. Я беспределен, как любовь — Я ЕСМЬ!

Следует, конечно, говорить о состоянии благодати. Но эту истину невозможно поймать в свою мыслительную коробку: это истина-свет, истина воды, текущей под скалами и несущей в своём потоке всё сущее, — шёпот архангела под затвердевшей чернотой вещей. Эта истина, подобно жизни, устремлена прямо в сердце и смотрит на мир единственно верным взглядом. Эта истина всё понимает и заставляет нас плакать от радости.

Одно и то же больше не будет повторяться на протяжении веков. Я начинаю всё заново, и всё начинается! Я, незаметное ядро, пребываю в круговороте будущих времён. Кто дал мне эту силу? Всё возможно, всё возможно!

Сын вечности, я здесь для Преображения. Врата ада больше за мной не захлопнутся.

Вечность... восхитительный миг.

Но люди решат, что я сумасшедший, невротик, быть может, с галлюцинациями! Что с ними поделаешь? У них на всё готовые этикетки — прорицатели жалких секретов. Я много страдал, да, но это лишь покров вещей, ночь, вцепившаяся в себя, чёрная кожа мира, которая трещит и выбрасывает старое кишенье; оно карабкается на поверхность, полагает себя главнейшим, липнет, страдает, тянет.

Но мы уже далеко.

Ах! не время сейчас нежиться на супружеском ложе и укреплять старую супружескую пару, грех от кожи, а внутри — свет вечности! не время для развлечений, для интимного шутовства.

Наступил час погружения, упорного, на острие меча, чтобы разрубить цепкие руки, наступил час взлёта — он причиняет боль, он всегда причиняет боль. Но мы для этого и родились, для той единственной секунды, когда всё превратится в свет. Да! уверяю вас, нам предстоит сделать открытие!

Светоносное "я" под старой мишурой.

Параноики и волшебники неродившихся вещей, искатели прекрасных островов, иконоборцы, бросающие вызов будущему, — я забыл о вас. Но, клянусь, это придёт. Это неоспоримая истина.

Я оказался возле бистро Эжени со смятыми формулярами в руках.

Соединённые Штаты Бразилии  
Регистрация иностранцев

Фамилия... Профессия... Религия... Цвет кожи... Я — цвета радуги, господин Корвало, я люблю жизнь и говорю вам: "Катитесь к чёрту!", поскольку я вежливый человек. Я разорву ваши бумаги на тысячу клочков!

Уезжать... в себя, внутрь — вот куда надо уезжать!

Дорога внутрь! Мой паспорт завизирован! он напичкан разноцветными визами, он годен для любой страны, для любой стороны света.

Передо мной неисследованные страны, мирные Аравии и Бактрии, Амазонии с золотыми источниками и моря, моря без названий, зовущие в новое плавание, — там золотистые равнины, там можно расправить крылья, там вершины, сверкающие Тибеты, способные всколыхнуть душу. Мириады, мириады солнц!

Я убаюкиваю на моих водах лучезарную Атлантиду.

Эжени в бистро одна, дремлет между мадонной и олеографиями. Я карабкаюсь по лестнице на свой чердак.

Грегори спит в моём гамаке или грезит. Керосиновая лампа на ящичке вытягивает золотой язык. На балках, на перегородках из нетёсанного дерева дрожат тени. Длинная рыжая сеть, протянутая через весь чердак, своими свинцовыми бляшками вбирает ленту пламени, потом всё погружается в чёрный грот, где мерцают пробковые колье.

— Я! Это ты. Я жду тебя... что с тобой, где ты бродишь?

Я сажусь на ворох парусины и дырявого брезента. Я в таком состоянии, что с моих губ способна слететь песня.

— Кажется, я всё устроил, — говорит Грегори.

— Что именно?

— Нас берут на судно. Я договорился с хозяином "Святого Людовика". Они отчаливают завтра на рассвете на Белен и Сальвадор. Представляешь, завтра мы уезжаем!

— Я не еду.

— Что?! Ты не едешь?

— Нет.

— Но...



— Я не еду, это решено.

— Что на тебя нашло? У тебя под носом свобода, а ты выпендриваешься!

В голосе Грегори досада и даже гнев, не очень понятно, почему. Тени от лампы на лице, слишком просторная для него, рубашка в красную клетку, тонкие пальцы, вцепившиеся в гамак, — всё в нём вызывает у меня недоумение.

— Послушай, Иов, мы уедем, а через несколько месяцев, в сухой закон, ты вернёшься за своим золотом... если хочешь, я тебе помогу. "Святой Людовик" — уникальный случай. Мы уезжаем, понимаешь, без паспорта, без копейки, просто так. Ты ведь так любишь приключения...

— Меня от твоих приключений тошнит. Что ты ко мне пристал?

— Не сердись. Что ни говори, а Кайенна далеко не курорт, согласен? Значит, "Святой Людовик"... Надо ведь что-то делать, как по-твоему?

Маленькие, голубые глаза Грегори, в которых появился металлический блеск, пристально глядят на меня.

— Что с тобой? Какая муха тебя укусила?

— Разумеется, я готов что-то делать, вопрос только: что?.. "Святой Людовик"? За десять лет я всюду успел побывать, да, скоро уже десять лет. Все эти твои приключения — лишь живописные прогулки, бессмысленные происшествия... Если так будет продолжаться, я начну скоро писать приключенческие романы, груды романов о прожитых днях. И обо мне скажут: не зря жизнь прожил, чёрт возьми!

Но всё это — подделка, липа.

— Я знаю обывателей, которые от твоих речей пришли бы в восторг.

— Послушай, Грегори, если бы у меня был послушный младший брат, я бы велел ему швырнуть в огонь свои дипломы, сесть на какую-нибудь посудину и отправиться искать золото — с этого всё начинается. Но лично я уже набил оскомину, всё так

похоже. Конформизм отрицания конформизма, одно не лучше другого... Понимаешь, негры ничуть не лучше белых, а шлюхи не лучше добродетельных, жён, даже если шлюхи не приходят от себя в восторг, а негры не выдают себя за умных. Все это — абсолютная ерунда.

— Возможно, но на практике приходится защищать ту или другую сторону.

— Да, но я ни на той, ни на другой. Есть ещё и третья сторона.

Чердак трещит, как старая габара на якорной стоянке. Ночные бабочки бьются о стекло лампы.

— Послушай, Грегори, когда мне было восемнадцать лет, я говорил себе: нужно больше экспериментировать, доводить себя до состояния реакции, как неизвестное тело, — мой отец был химиком... Забрасывать себя в самые противоречивые ситуации и смотреть, что из этого выйдет. И реагировать до тех пор, пока истина не выступит из-под кожи вместе с потом. И "Святой Людовик", и бухта Трезор, и концлагерь — всё для этого годится, всё подходит. Но когда появляется истина, необходимо перейти к истине.

Ты бунтовал против всего, но есть ещё один бунт — самый прекрасный — бунт против себя, против своих фальшивых шукур. Вот так. Поэтому "Святой Людовик"...

— Ты хочешь искать свою истину в этой бухте?

— Не знаю... Но не на "Святом Людовике"!

— Думаешь, есть какая-то разница между "Святым Людовиком" и этим чердаком?

— Надо, чтобы была.

Грегори раскачивается в гамаке. Он то погружается в полумрак, то на его лицо падает свет, и он становится похож на кота.

— Послушай, Иов... Если бы ты умел путешествовать по оккультным мирам, ты бы узнал, что наш мир не является каким-то особенным. Это один из многих миров, один из способов существования...

Грегори говорит медленно, тихим и ровным голосом, так, словно он сам отсутствует.

— ...Это даётся нелегко. Чтобы провести один день с ничто внутри, требуется огромная трата физических сил, к тому же всё очень быстро исчезает.

— Возможно, но я внутри. Я хочу сделать что-то в этом мире, понимаешь? А "Святой Людовик" — это совсем не то, "Пилигрим" — тоже, всё это не настоящее.

Ах! какое жгучее "я" внутри — "я", которое знает, "я", которое есть, "я", которое может... Если бы удалось вытащить его наружу, оно сумело бы изменить весь мир. И тогда бы я знал, куда идти и что делать.

— Грегори, перестань качаться, меня от этого тошнит!

— Какое детство!.. Ты знаешь о вещах, ничего не понимая, как дети, ты не умеешь ими пользоваться.

— Я понимаю, что то, что исходит от тебя сегодня, мне очень неприятно.

Грегори пожимает плечами.

— Тебе известно, что сегодня устроили на "Святом Людовике"?.. Макумбу. А знаешь, что это такое? Магическая церемония призвания божеств или мелких демонов — кому как нравится... Не делай круглые глаза, я не демон... но я поопытнее тебя и кое-чем могу тебе помочь.

Снова возникает поток волн, который вибрирует вокруг Грегори и пытается проникнуть в меня; но сегодня поток отлетает как бы рикошетом, словно я в световом футляре.

— Я два года провёл в тюрьме. Я тоже... абсурдная история, очень справедливая и очень постыдная, абсурдный процесс — и два года в "Уормвуд Скрабс" с мелкими воришками и прочим жульём... То есть ФИЗИЧЕСКИ я должен был отсидеть два года. И так продолжалось до того дня, пока я не закрыл глаза. После чего я начал кое-что понимать, я вышел из тюрьмы по собственному желанию... А потом... потом всё стало совсем интересно.

Грегори говорил очень тихо и по-прежнему раскачивался в гамаке. Казалось, он качается уже целую вечность.

— Любая вещь, Иов, в нашем мире продублирована силой. Наш мир полон несогласованных сил или, скорее, несогласованных людей. Так вот, вместо того, чтобы жить, как мухи, можно установить связь с силами и сущностями за пределами нашего мира — существует что-то вроде обмена, понимаешь?.. Нужно только думать об этом и думать напряжённо.

— Не знаю, о чём ты говоришь, но если то, что ты имеешь в виду, похоже на макумбу на "Святом Людовике", это не очень приятно... Я ничего там не видел, но почувствовал...

Что-то вспыхнуло во взгляде Грегори, возник блеск, который мне не нравится.

— Думаешь, твой "Пилигрим" лучше?

— Он чистый.

— Какая муха тебя сегодня укусила?

— Никакая. Только твои сны мне не нравятся. Послушай, Грегори, я не знаю ни тебя, ни твоих склонностей, не знаю, в каких мирах ты путешествуешь и какие существа тебя посещают, но одно я понимаю прекрасно. Я не хочу, слышишь, не хочу быть ночным горшком!

Грегори резко откинулся назад.

— Довольно с меня этой грязи. Я не желаю шарить в своих пещерах, я хочу снова обрести сны моего детства, вытащить их на свет Божий, как сардины на песок.

Наши мечты — творцы реальности.

Я верю в это. Верю в то, что наш мир изменился бы, если бы вместо того, чтобы думать о том, что прилипло к нам чёрными пиявками, мы привлекали бы наши мечты, и они, как по мановению волшебной палочки, открывали бы нам жизнь... Разве ты не вспоминаешь об этом?

В нас дремлет волшебник, но мы о нём забыли.

Неужели ты не помнишь, Грегори?.. Вера... когда-то мы имели веру — не головную веру взрослых, нет, а пророчество с радостным смехом. Мы постигали всё, подобно вспышке света, не задумываясь. Вера творит чудеса, вера защищает, вера предотвращает зло, и наша жизнь была чудом. Мы бегали по скалам без малейшего страха, уверенные в том, что, если под ногами не окажется вдруг твёрдой земли, сможем полететь, как птицы. Мы мчались в открытое море против ветра и приливов. Всё нас очаровывало! Всё было нашим царством! Мы были волшебниками, мы останавливали зло и смерть, потому что не верили в их существование, мы проходили сквозь опасности неуязвимыми, потому что всё это было игрой любви, — мы были истинными волшебниками, мы управляли жизнью. Разве ты не вспоминаешь об этом?.. Вот что необходимо обрести вновь и ввести в нашу жизнь.

Но мы стали слишком взрослыми, у нас слишком много идей — голова распухла от идей — ни для чего не осталось места: ни для богов, ни для фей, ни для чудес... мы набиты, как железобетон.

Мы ничего не создаём в нашей жизни, кроме железобетона, тоннами, с замурованными внутри людьми, которые задыхаются там от скуки и неврозов.

Да, думать напряжённо, как ты советуешь, верить, но верить в феерию, которая приходит, как игра. Вера угольщика? Нет, вера в новую зарю, которая пробудит жизнь; при чём здесь "Святой Людовик" и всё это барахло, которое мы тащим за собой?

Грегори смотрит на меня, и я впервые чувствую какую-то неуверенность, промелькнувшую в его глазах.

— Грегори, мы не верим больше в фей, зато о чертях не забыли! Мы верим только в болезни, в войны, в старость, в смерть... И никто не видит, что все эти вещи, словно породистые свиноматки, жиреют от наших страхов и сомнений! Этот мир, словно огромный "Святой Людовик", позволяет завладеть собой до самой сердцевины.

Да, мы разумны и серьёзны, мы исполнены здравого смысла. Нет больше острова сокровищ — всё наше богатство на банковском счёте. Нет больше чудесных стран — зато есть чистилище и краешек рая, от которого загнишь во веки веков. Да! Мы очень выросли. Мы уже не мирный лес, а джунгли, полные хищников, грязное болото для специалистов по комплексам, грешники, которым надо отпускать грехи. Никого давно не волнует, что Принцесса спит, а Синяя Птица улетела! Воистину, мы тысячу раз заслужили то, что с нами происходит. Мы этого хотели, очень хотели; в этом наша главная ошибка. Мы выиграли, ничего не поделаешь!

Так кто же верит в жизнь? Те, кто утверждает, что любит её? Это грустная ложь, как воскресенье в Луна-парке.

Никто не верит. Одни готовы заставить нас взлететь с помощью бомбы. Другие гонят в другую крайность — прямо в Царство Небесное, ибо верить в жизнь — преступление против Бога, который, конечно же, создал эту юдоль слёз специально для поклонения небесам. Весь мир хочет ускользнуть: кто, используя для этого тротил или плутоний-237, кто, как ты, путем транса, кто — находя утешение в низкопробном кино. Все ускользают, абсолютно все!

Так вот, я верю... Я верю в жизнь... Правы те, кто ищет эликсир молодости, правы те, кто считает, что можно победить смерть. Правы те, кто, несмотря на всё, верит. Это они подготавливают изменение мира, они приближают будущее. Нет, мы не останемся навсегда резонерствующими и смертными полубезьянами!

Двадцать лет собирать по крохам знания, чтобы вычесать тысячелетиями накопленных гнид.

Человек становится тем, что он видит в себе, и я хочу видеть мечты своего детства, хочу, чтобы они стали истиной на земле. Именно это я и хочу сделать — ты слышишь, я хочу делать, а не спать! Сделать мечту живой, мечту, которая приблизит будущее.

— В этой бухте с Крэбботом ты рассчитываешь очаровать свою Синюю Птицу?

— Нет.

Вдруг Грегори стукнул себя по лбу.

— Письмо!

— Что? Какое письмо?

— Мне передала его Эжени. У неё был очень взволнованный вид.

У меня заколотилось сердце, когда я распечатывал конверт. Что ещё могло на меня свалиться?

*Французская республика  
Свобода — Равенство — Братство  
Главное управление национальной безопасности  
Государственная полиция  
Комиссариат полиции города Кайенны*

*Господина Леглоэка Иова просят явиться в кабинет инспектора полиции в среду 27 декабря в восемь часов для уточнения анкетных данных.*

*Комиссар,  
Заместитель,  
(подписи неразборчивы).*

— Что такое?

— Ничего, полиция.

Грегори наклонился надо мной. Верёвки гамака скрипят на балках.

— Ну так удирай! Что тебя удерживает? "Святой Людовик" снимается на рассвете с якоря. Всё улажено.

— Нет.

— Ты пойдёшь в полицию?

— Они ничего не смогут доказать.

— Они могут всё, старина, поверь мне. Знал бы, как они выпихнули меня из Англии! Они позволяют себе всё...

— Если я обрету себя, они ничего не смогут.

— Если ты обретешь себя?

— Там, внутри.

— Иов, не будь таким наивным. Я умею мечтать не хуже тебя и знаю, что сказки рассказывают не только для детей... но чтобы превратить их в земную реальность, требуется совсем не та магия, которой ты располагаешь. Ты должен понять, что "Святой Людовик"...

Послушай, можно делать "макумбу" без луны и без танца живота. Можно призвать более значительных божеств или более значительных демонов, если к тому есть способности, — они здесь, рядом, стоит только потянуть за верёвочку. Их можно заставить помочь, если, конечно, знать, как это делать...

Грегори бросает на меня взгляд и продолжает.

— У тебя нет власти, ты ничего не можешь, это всё подделка, как ты только что сказал, или случайные мелкие катастрофы. Тебя упрячут в тюрьму, и ты ничего не сможешь поделать.

Грегори чеканит слова. Я никогда не видел его таким возбуждённым.

— Слышишь, Иов, в тюрьму. И ты окажешься бессилён. Я получил однажды такой урок, он мне дорого стоил. Ты — отличная добыча для случая, а случай в наши дни на стороне полиции. Так что собирай свою сумку, надо бежать.

Грегори стучит каблуком. Бежать?

Этот Лопес неплохо мне отомстил... И таможенник, которого я только что встретил на набережной, наверняка доложит начальству о контрабанде птицами и о том, что я сам в этом признался! Ещё один довесок к делу... Но чёрт возьми, то, что я видел сегодня...



— Пошевеливайся!

— Я сказал тебе, что остаюсь. Завтра пойду к инспектору.

— Твои феи ничем тебе не помогут.

— Не феи...

Тень Грегори качается на перегородах. Вокруг витает приятный запах пропитанных солью сетей и терпкого гудрона, горьковатое пощипывание судовых красок, как на чердаке моего острова. Большие заманчивые страны мелькают под этой кровлей.

И вдруг возникли искры, четыре или пять удивительно ярких белых искр, сверкающих, как алмазы, — кто-то пришёл и постучал в мою дверь, словно в ответ на мой вопрос: — Что?.. Интересно, что когда я задаю вопрос с определённой глубиной, всегда приходит ответ. Иногда это искристое сияние, после которого наступает полный покой, как если бы ничего не произошло, но что-то присутствует и действует — я это чувствую — и если я в полной тишине прислушиваюсь к себе, то мгновенно возникает понимание. Или же ответ появляется сам собой минут через десять или через час, когда о нём совсем не думаешь. Он не всегда выражен словами, иногда это встреча, случайное происшествие, всё равно что, но какой-то знак.

— Они вышлют тебя официально, Иов, и ты получишь по заслугам, тебе придётся убираться отсюда, положившись на случай, и на этот раз наверняка будет хуже, чем бухта, хуже, чем Крэббот, хуже, чем твой полицейский инспектор. Это будет новое крушение.

В его голосе звучала удивительная убеждённость, и я понимал, что он говорит правду, но истина у Грегори всегда плохая: вот уж, воистину, прозрение в нисходящие слои.

— Ты слышишь, господин старатель?

— Да...

Снова возникли мелкие искорки, и вокруг меня образовалось что-то вроде давления, но очень слабого. Присутствие, облачён-

ное в дыхание и улыбку, словно говорило мне: "Не огорчайся. Будь чист".

— Так что же ты можешь, скажи мне?

— Что я могу?.. Это странно, Грегори, но как бы одновременно есть бессилие перед жизнью и власть над ней, случай и его отсутствие. Я не знаю, как всё объяснить, я это чувствую... всё зависит от того уровня, на котором находишься.

— Твой уровень — Кайенна...

— Возможно. Когда находишься совсем внизу, то целиком принадлежишь случаю и ничего не можешь, совершенно ничего... Вся беда в том, что одной ногой я в этой бухте, а другой — где-то в другом месте, в этом вся трудность.

Бессилие... я — как Вавилонское столпотворение со своими тридцатью шестью желаниями, которые тянут меня в разные стороны. Тянут к "Святому Людовику" и "Пилигриму", к бунту и любви, сознанию и животу... Не знаешь, чего хочешь больше, сразу тридцать шесть желаний. Жаждешь свободы, но при жене и центральном отоплении, и чтобы чем больше женщин, тем больше центрального отопления. Жаждешь истины в жизни, но чтобы откусить кусочек от сладкого пирога, чуть поразвлечься и удрать куда-нибудь в Бразилию или в Йемен. Жаждешь красоты и покоя, но чтобы было немного драки, чуть-чуть посыпанной негритянским перцем... Рука — на первой подвернувшейся ягоде, а сердце устремлено к последним квартетам Бетховена.

В жизни хочется самого разного, вот и получаешь целую пригоршню везений и несчастий. Но помимо этой человеческой немощи существует закон более высокого порядка, и я прекрасно о нём знаю.

К тому же "я" не одно, их много.

Грегори взял гитару и принялся рассеянно наигрывать свою неизменную мелодию. Мне показалось вдруг, что музыка помогает ему уцепиться за что-то по ту сторону. Я не люблю его бряцанье, особенно сегодня, оно уводит меня куда-то в сторону.

— Так что же, Иов, будешь делать? Тебя засекли...

— Почему ты все разговоры сводишь к этой теме? Неужели тебе так хочется, чтобы я поехал с тобой?

Грегори вздрогнул, словно его застигли врасплох.

— Чёрт с тобой! Делай, что хочешь, со своим более высоким законом, чем случай...

— Но, Грегори, я с ним уже сталкивался — и не один раз, а десятки... Дело вовсе не в том, чтобы, как ты говоришь, "хотеть чуть настойчивее", ведь обычно совершенно не знаешь, что именно нужно хотеть, в голове масса противоречивых идей на этот счет, и они изо дня в день меняются... Нужна точка опоры, и не ум, не сердце, а такая, которая не менялась бы. Когда входишь с ней в контакт, жизнь преобразуется. Покидаешь власть случая и подчиняешься закону более высокого порядка, который похож на свободу и имеет власть над вещами. Я знаю, Грегори... я видел, я этого коснулся.

Нет случайности, когда выбираешься из ловушки, из этого муравейника с женитьбами и бизнесом. Не случайно я здесь, в этой бухте, на этом чердаке. Не случайно я встретил "Святого Людовика", — эта встреча потрясла меня до глубины души — я получил тот удар, который был мне нужен, и именно в тот момент, когда он был нужен... Эта минута, этот вечер, даже твоя гитара стремятся что-то мне сообщить. Стоит только изменить точку опоры — и всё обретает свой смысл, всё становится законом. Всё на что-то отвечает, именно так: ОТВЕЧАЕТ.

Кто-то внутри знает и ведёт: светоносное "я", а не ивовский панцирь. Кто-то кладёт нашу руку на ту книгу, которая нам полезна, открывает ту дверь, которая нам нужна, сталкивает с событием, вещью, человеком, которые нам необходимы... Все приходит как ответ на зов.

Грегори перестал брэнчать на гитаре и внимательно посмотрел на меня.

— Это просто, Грегори, это очень просто... Послушай, я вышел на дорогу с пустыми руками, я всё бросил, я хотел от жизни только одного: лёгкого ветерка, заставляющего танцевать от ра-

дости, и такой же, как ветер, свободы. Мне плевать было на богатство, на ласки, на будущее — моё настоящее было переполнено будущим — мне плевать было на всё, кроме этой ликующей теплоты в сердце, которая пахнет степным простором.

Я бродил по разным дорогам, у меня ничего не было и вряд ли мне предстояло найти пищу, если не считать тюрьмы, всевозможных инквизиторов, консульства и хлопающие двери. Быть может, одиночество и, наконец, этот обломок судна, о чём все вокруг давно предсказывали, но я был богат, богат, как шхуна, плывущая за сокровищами инков. И никогда не одинок

Всё приходило, всё было дано мне, как даётся детям. Я ничего не хотел в жизни, кроме запаха моих равнин и простора, в которых я нуждался, как в воздухе... я ничего не хотел, а мне давали всё. Достаточно было, чтобы эта крохотная точка во мне захотела — о-о! совсем крохотная, как притаившаяся птица, как снежный кристаллик, — и всё раскрывалось, всё возникало из ничего, как дар любви.

Но между птицей и мной был заключён договор. Ничем себя не связывать, ничего не желать. Быть как дверной проём, чтобы птица могла летать. И она всё для меня делала. Дарила встречи и паспорта, деньги, неожиданную помощь. Приносила все пароходы мира, чтобы спешить навстречу новым опытам, и я счастлив был на нижней палубе, в лесу, на дороге. Она меня оберегала. Ты даже представить себе не можешь, насколько я был защищён, какое это бесконечное чудо... Всё было мне дано, потому что я не хотел ничего, потому что я верил в свою птицу и ни во что, кроме неё.

Только на это надо опираться и ни на что другое. Тогда всё возможно. Жизнь открывается, как в сказках Андерсена.

Нет больше ни случая, ни бессилия. Когда надо вырваться из мышеловки, ты действуешь как божество — из себя, с помощью себя. Маг внутри. Тот, кто знает, тот, кто видит, тот, кто может.

Но мы ещё не родились. Поэтому всё то открывается, то закрывается. Видишь всё ясно, а потом снова расшибаешь голову

— но когда-то всё должно раскрыться по-настоящему, и тогда мы будем всё знать и всё мочь.

Завтра пойду к инспектору. Я остаюсь.

Грегори не сводил с меня глаз. Я чувствовал, что он безмолвно меня зовёт, что он чего-то от меня хочет.

— Грегори, мы затерялись в этой бухте, потому что погрязли в мелкой личной аванюре. Нужно с этим кончать. Пора подняться на другой уровень. На другую высоту, где всё прояснится. Символы вручат нам свои ключи, и всё станет возможным! Всё является символом... всё является символом чего-то, что находится за ними, но только не эти тёмные силы, которые известны тебе и которые пожирают друг друга... Символы накладываются друг на друга и сверкают тысячами смыслов. Но мы видим только один из них, тот, что бросается в глаза, мы видим маску, которую принимаем за сущность... Измени уровень — и вещи изменят свой смысл, и тот же самый камень станет драгоценным, излучающим тысячи миров. Взгляни на всё светоносным "я" — и вместо напрасного путешествия начнётся истинная жизнь.

— Для тебя, быть может, а для других?

— Но мы ведь все вместе, Грегори, все вместе — и для лучшего, и для худшего. Всё, что достигается в сознании, есть сознание для всех. Наша победа над темнотой — победа для всех, наша победа над страданием — облегчение тяжести всего мира. Все вместе!

Но сначала необходимо обрести власть над самим собой.

Те, кто действительно что-то может для этого мира, те, кто защищает этот мир, — речь идёт не о подделке, а об истинной власти над причинами — это, возможно, молчаливые и неизвестные люди, рождённые для истины и свободные, которые стоят выше всех наших завихрений и для которых власть есть свидетельство самой любви...

У таких людей тысячи жизней, поле их деятельности — вся вселенная.

Взгляд Грегори потерялся где-то по направлению к слуховому окну. В тишине восходила ночь, похожая на древнюю молитву; пронзительное, скребущее, незапамятное дыхание жизни, которая борется и сама себя уничтожает, которая следует законам войны потому, что хочет пробиться, любить, быть свободной. Жизнь, которая не нашла себе высших законов, которая вызывает в скрежете ночи и продвигается наощупь. Этот жестокий закон — не что иное, как чёрное лицо любви, свобода, ищущая себя, мир, отчаянно жаждущий родиться... Везде я вижу под чернотой пробивающийся свет. Я чувствую, что близок тот час, когда ночь сможет вывернуться, как перчатка: достаточно будет пустяка, маленького щелчка изнутри, подключения к другому току — и радость на лицах брызнет фонтаном... воскрешенные живых!

— А что же станет с твоим "Пилигримом"?

— Моя птица не желает ни "Пилигрима", ни "Святого Людовика", ни ещё одной дороги...

Грегори уцепился за край гамака. Он напрягся, как натянутый канат: казалось, он с чем-то борется.

— Грегори, драма для нас, на Западе, заключается в том, что нам нечем дышать. Живём впритирку. Занимаемся тем, что уплотняем свой панцирь. Уверяю тебя, Великая китайская стена — ничто по сравнению с этими стенами... Но в нас сидит неприрученное дитя, что-то такое, что согревает, что любит, что пронизано могучими ветрами и простором, какой-то удивительный мятежный дух, дух не бунтаря и нигилиста, а дух утверждающий, несущий пламя высшей памяти.

Вот он-то и угасает в нас.

И что же, скажи мне, у нас остаётся? Что-то шевельнётся внутри, а нам некуда податься, кроме церквей, которые немедленно подвёрстывают нас под свои догмы, кроме заблудившегося оккультизма да книг, бесконечных книг, словно мы — подопытные животные с мозгом. Что касается сердца, то разбирайся по этой части со своей женой. О, как ужасно мы живём!

А ведь мы что-то другое, у нас есть не только голова и сентиментальное сердце, мы — не только трудная наследственность, мы хотим дышать полной грудью. Открыть дверь, глубоко вдохнуть, обрести, наконец, всю полноту человека во всей полноте его жизни.

И если что-то в нас будет отрицать жизнь, этот мир будет разрушен, ибо он создан для жизни.

Мир снова уйдёт под воду. И снова, и снова будет возрождаться под другими небесами, с другими законами, с другими существами, возможно, менее разумными, чтобы вновь попытаться осуществить одну и ту же вещь, одну и ту же надежду, которую уже однажды предавали многочисленные расы, поглощённые таким же потопом; миллионы и миллионы лет мы находимся в горниле великого творения, и так будет до тех пор, пока мы, уставшие от одних и тех же действий, утомлённые страданиями и бесконечно повторяющимися ночами, своей ничтожностью и тщеславием, не поймём, наконец, то тайное величие, что было заложено в нашем теле, и не обнаружим в нём неприрученное дитя, короля в изгнании в наших образцовых городах.

Тогда среди нас возникнет раса сынов лёгких, блистательных, со спокойной улыбкой. Земля узнает детство и радость, потому что здесь жива ещё эта мечта.

Грегори неподвижен, как скала. Лицо его вытянулось, уголки губ дрожат. Он смотрит на меня. Мне хочется что-то для него сделать, но я не осмеливаюсь положить ему руку на плечо.

— Надо выбирать, Грегори, выбирать ежесекундно. Бросать за борт... Не бросить ли в огонь "Пилигрим"?

— Уже светает, Иов, время посадки... Я не знаю... Что здесь делать?

— Прислушайся к себе... Каждый получает свой ответ. Истина не нуждается в катехизисе.

— У меня потерянное детство, Иов, это невозможно исправить.

— Очень даже просто... ты говоришь "да" и бросаешь гитару в бухту — это всё, что тебе мешает.

Твои руки свободны.

Грегори внезапно сжимает гитару, словно я поджжёт её.

Не говоря ни слова, он встает.

Дверь хлопает.

Я снова один. Я ничего не знаю... Скрипит чердак, дрожат тени. Я не знаю, куда идти, что делать. Мне не нужен ни Грегори, ни бухта, ни этот старый мир, мне не нужны люди, уничтожающие жизнь...

Во мне нет ничего, кроме веры, кроме крохотного огонька веры. Только он. И я взываю, взываю в тишине, чтобы понять.

Только что в бухте была эта чудесная минута. Кажется, она уже далеко, почти затерялась в повседневной жизни... Птица-мечта оставила за кормой только шлейф, и нет больше ничего, что подняло бы меня на новую высоту.

Я не очень понимаю, с какой стороны к этому подступиться. Масса прожитых дней со мной, она давит, привычные мысли пытаются идти своим ходом, но вихляют, словно не могут попасть в колею.

Эта минута в бухте — единственная истинная вещь в моей жизни, отправная точка. Именно её и надо иметь перед собой как единственную цель, которую необходимо достичь, — не случайная минута, а вся жизнь, каждая секунда жизни должна стать такой.

Итак, решено и бесповоротно: я расстанусь с золотом и бросаю в огонь своего "Пилигрима".

Мне больно от этого решения.

Но только так.

Не осталось ничего, кроме опустевшего паруса. Я один со своим молчанием, и пустота — впереди меня и позади меня. Я всё бро-



сил. У меня нет ни отца, ни брата, ни матери. Нет дома, нет денег, нет ласки. Нет Бога, которому я мог бы помолиться, нет Евангелия. Нет ничего, кроме этой ночи и дрожащих теней на балках, кроме воды, струящейся над бухтой. И ещё — бьющееся сердце, одинокое, неутомимое. Всё брошено в его пламя. Я больше ничего не хочу, ничего, кроме того, что должно быть. Только это, ничего другого. Я хочу своей истинной сущности, истинной жизни. Только это, ничего другого. Сейчас я целиком в этой минуте, без будущего и без прошлого. Я — молитва и молчание в одной минуте. Я весь обнажён, я взываю.

Что-то искрится над слуховым окном, передо мной, и внезапно я понимаю, что я знаю.

Слов нет, мысли нет, но всё полно и неоспоримо — я знаю. Что-то вроде ниточки, легкой ниточки, за которую надо потянуть — и знание войдёт в мою голову. Как приятно находиться в этом состоянии, не шевелиться, не тянуть, пребывать в тепле, которое любит. Какой покой!

И вот передо мной вся бухта, струящаяся по стенам моего чердака брызгами живой воды и жёлтых огней, бухта в играющем плеске, простёршаяся, насколько хватает глаз. Обе мачты "Святого Людовика" нацелились прямо в небо, охапка звёзд просматривается между высокими ряями.

Внезапно мне приходит воспоминание в бесконечности о том, как я был один, перелётной птицей, опустившейся сюда на ночь. Мне захотелось сказать спасибо за то, что я был здесь с пустыми руками, бродяга без веры и знака — нет, с твёрдой, как гранит, верой и с золотым законом — с пустыми руками, если не считать это маленькое тепло в глубине, которое делает меня свободным, как ветер.

Я всё потерял.

Я всё выиграл — я сирота, не знающий тяжести!

И вдруг пришло внезапно и совершенно очевидно: еду в Индию.

Черный покров спадает с моих плеч — бухта, больница Сен-Поль, Крэббот, Миньяр, прежние печальные страны...

Всё есть радость, но мы об этом забыли.

Мы в пути с очень давних пор, со времён древних лесов и мрачных храмов, мы ищем колодцы, которые утолили бы нашу жажду. Мы несём в себе всю тяжесть ночи, из которой вышли, путешествуя по тысячелетним путям. Смутно, издалека, мы вспоминаем о великом свете, который ласкал нас в детстве.

Накатились воды. Тёмные воды начала миров, где всё погрузилось в забытие и оцепенение.

Но мы упорно прорастали через болота и джунгли, через полярные ночи и раскалённые пустыни. Мы уплотнили свой панцирь, чтобы бороться с жестокой чернотой вещей, отсекали золотую нить, которая была для нас плотью плоти миров. И стали одинокими людьми в тверди вещей.

Мы всё время испытываем жажду, эту ностальгию по тёмным водам начала миров, этот зов светлых вод до начала времен, призыв детства, преследующий нас, словно мы ещё не люди, словно мы уже не люди.

Нас тянет и тянет, как будто два головокружения, два небытия раздирают нас. Мы мечтаем о колодце забвения, об уходе навсегда в Мать темноты, в Мать всякого света — возможно, это одна и та же Мать — в улыбку и покой, в умиротворённое дыхание того, что не имеет имени.

Мы шли под неисчислимыми лунами, взывая и молясь. Мы приносили жертвы на бесчисленные алтари, умоляя жестоких и страждущих богов уничтожить этот человеческий грех, превратить его в небесную пыль или в лаву забытья у подножья вулканов. Мы росли. Но наши хрупкие поселения не смогли задержать наш караван. Мы очарованы древними катастрофами и непогрешимостью церкви. Все обещают нам освобождение, все обещают спасение в смерти или после неё.

Так неужели человеческое тело проклято, неужели оно должно трепетать и при свете дня и ночью?

Но я вижу, что тело — место удивительных преобразений, что со времён той ночи вырос редчайший цветок. Что-то колеблется и движется наощупь — упрямая память, которая является сознанием. Мы на полпути от личинки к Богу, надо выбирать, снова и снова выбирать! мы ещё не люди. Времени забывать больше не осталось, надо вспоминать.

Мы только-только родились на свет, лопочем свои крохотные истины, которые сталкиваются и уничтожают друг друга, свои жёсткие истины под панцирем, но ничто не будет спасено, если не удастся спасти всё! Рождается новое сознание, которое уничтожит циклы, и будет свет без тьмы — наконец-то мы станем людьми!

Мы в начале великого путешествия.

Мы в начале метаморфозы. Нужно уходить от узкого лба, который ничего не знает, кроме повторяющихся катастроф и разделяющих людей истин. Нужно уходить от воли случая и однообразия дней, которые, похожие друг на друга, вздымаются под дыханием лун. Уходить от ритма вод и тёмных пульсаций, которые тянут нас, чтобы проникнуть в солнечный ритм нашего "я", в блеск и пламень великого первого Солнца. Надо открыть свой панцирь для рождения, а не для смерти.

Давайте займёмся другими, не столь варварскими играми! Случай-каннибал внизу, в самом низу, карабкается по древней коре, но внутри — золотой закон. Солнечное "я" в сердце, его нужно извлечь наружу, до самой кожи вещей, до самых клеток тела, чтобы жизнь наполнилась им!

Этой затвердевшей тысячелетиями ночью мы пребываем, в своей пустоте, совсем одни, с тем сердцем, что отбивает свой прежний ритм, как тамтам, и с другим сердцем, что жаждет золотой полноты вещей. Что нам делать здесь и теперь? — извечный вопрос человека, который хочет быть человеком, а не мёртвым прахом.

И что мы можем с нашей рассудительной головой, с переменчивым сердцем, которое и любит, и ненавидит, со слепым интеллектом, который судит, приговаривает и решает?

Необходимо изменить сознание.

Нужно раскрыть солнечный цветок, прежнюю золотую память, в которой всё заложено ещё до рождения миров, и мы станем теми, кто знает, теми, кто видит, теми, кто любит и может, ибо что такое любовь без власти?

И этой запечатанной тысячелетиями ночью я вижу, что для того, чтобы делать, нужно быть, чтобы знать, нужно быть, чтобы мочь и любить, нужно быть. Путь наружу начинается внутри.

Я вижу, что свобода вовсе не там, куда мы её поместили, она не в наших вольерах и не в наших сокровищах. Она не в Гималаях и не в тихих монастырях. Что такое застывшая свобода, свобода в монашеской одежде, сразу же колеблющаяся, стоит только лишить её одиночества? Что такое свобода, которая ничего не может? Свобода — у того, кто может, у того, кто знает. Это высшее сознание, и я вижу, что внешняя свобода должна сначала пройти через внутреннее освобождение.

Да, мы страдали. Страдали долгие, бесконечные ночи. Но это страдание не есть плод абсурдного греха — кто согрешил первый? Цель страдания вовсе не в том, чтобы вымолить бесплодные добродетели, не в компенсации, которую требуют пустые небеса. Страдание — наше освобождение от темноты. Мы только-только его начинаем. Я знаю, что чем больше возрастает наше сознание, тем меньше страданий, которые завершают свою пробуждающую роль, и чёрная рука разжимается тогда, когда раскрывается панцирь. Страдание — недостаток сознания; сознание — это радость.

Радость. Древняя радость, которая была при зарождении миров, любовь-огонь, которая сотворила вселенную и сама погрузилась в лаву, забытая в скале ради счастья собственного обретения.

Маленькое пламя росло веками, оно стало корнем и животным, стало человеком и хочет расти дальше. Настал час, когда оно

захотело, наконец, полной любви в самом человеке. Настал час, когда необходимо выбирать между возвратом к старым катастрофам и великим светом нового сознания. Мы — поле битвы, мы во власти авантюры: необходимо выбирать! У нас нет больше времени избегать выбора, нет времени искать во внешней видимости вещей, в ветхих храмах и священных писаниях, мы должны всё преобразить. У нас нет времени создавать новые системы, писать новые Евангелия... мы должны собрать все наши силы и высоко-высоко метнуть нашу веру, словно гарпун света, чтобы пронзить ею закопчённое небо и освободить золотой луч, который изменит лицо мира.

Отныне мы рождаемся не для того, чтобы вновь возвращаться в круг слепых циклов! Необходимо изменить волну, которая понесёт нас по морю сознания, уже катящегося по мирам, сознания, которое обнаруживает себя в излучающем свет теле. То, что было вначале, должно обрести себя в конце, но не в солнечном блеске, где всё разрушается, и не в натиске темноты, где всё поглощается, а в лучезарном теле на завершённой земле, в бесконечной радости форм, которые выявляют Бога своим неистощимым многообразием.

Всё есть радость, надо только вспомнить об этом, только вспомнить! Она здесь, спокойная и уверенная под чёрной поверхностью вещей. Она нас любит.

Я ощущаю глубины, бесконечные глубины, просторы сознания, как трепещущие солнечные моря. Я чувствую, что всё это близко, я угадываю улыбку позади завесы. Мы в преддверии нового, жизнь начинается!

Предадимся же божественным мечтам! И да будет свет в нашем теле!

Бухта плещется за бортом моего чердака. Осталось ли во мне что-то от прошлого? никогда не было ничего настоящего, ничего, кроме горстки радости, когда на протяжении долгих дней я

тайно искал золото; ничего, кроме улыбки в глубине моего существа. Так что же осталось!?! Я — радостное дитя с вечностью в сердце.

И это присутствие вокруг, нежное присутствие во мне, которое увлекает меня на ниточке света в неизвестный путь, которое уносит меня на огромном белоснежном паруснике, подгоняемом лёгким ветерком.

Вот он, мой "Пилигрим". Мой "Пилигрим"!

Мёртвое тело сброшено. Я обитаю в первых зеленоватых лучах зари, и мой путь прекрасен; я держусь за ниточку света, которая увлекает меня в великую Индию, в мир, исполненный надежд.

*15 августа 1957*